

Георгий Чулков

# Слепые



# Георгий Иванович Чулков

## Слепые

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=664365](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664365)*

*Чулков Г.И. Избранное: М.; 2011*

### Аннотация

В повести воспроизведены реальные события «снежной» зимы 1907 г., закружившей в своем вихре А. А. Блока, Н. Н. Волохову, Л. Д. Блок и Г. И. Чулкова. Страстное увлечение Блока Волоховой вызвало к жизни знаменитый цикл «Снежная маска».

Г. Чулков, перенеся в повесть реальную ситуацию, в первую очередь попытался избежать «легкости», сделав более рельефными отношения между людьми, составлявшими знаменитый «четырёхугольник».

# Содержание

I	4
II	9
III	16
IV	20
V	26
VI	30
VII	34
VIII	38
IX	44
X	48
XI	53
XII	57
XIII	65
XIV	69
XV	78
XVI	85
XVII	93
Комментарии	

# Георгий Иванович Чулков

## Слепые

### I

В переулках еще лежал талый побуревший снег, но уже веял влажный ветер и мартовская оттепель накрепко взяла землю.

Борис Андреевич Лунин, ослепленный весенним небом, торопливо переходил через площадь с Николаевского вокзала на Рязанский. Едва не раздавленный шальным автомобилем, промочив изрядно ноги, он попал наконец на подъезд вокзала. Рассеянно сунув сак и деньги посыльному, пошел он в буфет. И здесь чувствовалась московская весна — и в странной смеси зимней и летней одежды, и в запотевших окнах, и в лужах от калош, и в несколько возбужденном говоре пассажиров.

Лунин с любопытством осмотрелся вокруг, узнавая знакомое... Вон пробежал лакей с дымящимся стаканом чая и двумя пирожками; вон проплыл важно седоусый начальник станции в красной фуражке, преследуемый хлопотливым пассажиром; вон бледноликая дама в трауре. Все то же самое, и весна такая же.

Борису Андреевичу Лунину на вид можно было дать лет

тридцать. Но уже немолодая грусть светилась тихо в его глазах, заключенных в синевато-желтые круги. Слишком красные губы, серебристо-матовая бледность и рассеянный взгляд – все отличало лицо Лунина от заурядных физиономий.

Толпа пассажиров со смешной торопливостью хлынула на перрон. Рассеянно занял Лунин первое попавшееся место в вагоне. Рядом сидел молодой человек; и Лунину показалось, что где-то он видал его, этот низкий упрямый лоб с черными на нем кудрями, эти глаза, мечтательные и злые, этот страстный рот и слишком белые зубы...

И молодой человек сделал движение в сторону Лунина, как бы желая поздороваться. Вскоре разговорились. Молодой человек назвал себя графом Бешметьевым и объяснил, что знает Лунина: видел его портреты и в прошлом году встречал в Мариинском театре на вагнеровских спектаклях.

Стараясь побороть свою болезненную рассеянность, поддерживал Лунин разговор, заинтересовавшись не тем, что говорил ему собеседник, а его до странности мечтательным взглядом и непонятной улыбкой, некстати змеившейся под темными усами.

Лунин почувствовал, что встреча с этим графом будет иметь для него какое-то значение. И это предчувствие, а может быть, и не совсем обыкновенное лицо соседа растревожили Лунина. Из разговора выяснилось, что оба они едут до станции Пустынино.

– Я туда еду без определенного плана, – сказал Лунин задумчиво, – не знаю, как там устроюсь. Мне говорили, что в Пустынине есть дачи и что их мало, и вокруг тихо, а мне это и надо. И хотелось пожить еще в Московской губернии: я все-таки москвич, хотя Петербург и покорила меня...

Бешметьев с готовностью рассказал, как можно в Пустынине устроиться. Он сам едет сейчас в имение к князю Ховрину. Это в трех верстах от станции. А на полпути – дачи. Если Борису Андреевичу нужно небольшое помещение, лучше всего снять у Михневича.

– Мне называли эту фамилию, – сказал Лунин.

– Этот Михневич – зять местного священника.

– А вы знаете этого священника?

– Как же! Знаю. Отец Григорий...

– Вот как! Может быть, вы и семейство знаете отца Григория?

– Да, знаю. Видел его дочку, Наталью. Приятная барышня. И Александру, ту, что за Михневичем, тоже знаю.

– А другую сестру, Анну Григорьевну, вы не встречали? – спросил неожиданно Лунин.

– Нет, не встречал. А вы, стало быть, отчасти знакомы с этим семейством, – сказал Бешметьев, улыбаясь.

– Да, я встречался с Анной Григорьевной в Петербурге. Она, между прочим, хвалила мне Пустынино. Рассказывала, что в имении князя парк замечательный.

– Парк чудесный и, можно сказать, таинственный. Пре-

красный парк. А про Анну Григорьевну я слышал. Она, если не ошибаюсь, замужем за инженером Полянским. Говорят, эта Анна Григорьевна красоты необычайной...

Лунин ничего не ответил и задумался. Молодой человек не тревожил его и, только когда приехали в Пустынино, напомнил, что пора выходить из вагона.

У станции стояли от князя присланные сани, и Бешметьев предложил Лунину подвезти его до дачи Михневича. В Пустынине еще лежал глубокий снег, и лишь кое-где на буграх чернела обнаженная солнцем мартовская земля. Свеж и прозрачен был воздух. Вороны с гортанным криком перелетали изредка с ели на ель, отряхая большие снежные хлопья; ехать пришлось по лесной просеке. И казалось, что кто-то благословил белый путь, и ели, и сосны на тишину. Странен был скрип полозьев на этом пути.

Лунин поблагодарил Бешметьева и побрел к домику Михневича, проваливаясь в снег. Визгливый лай потревожил обитателей усадьбы: на крыльце появился высокого роста мужчина и свистнул собак.

Рослый человек назвался Михневичем и повел Лунина в комнату. Там было душно, тесно и шумно. Куча неумытых ребят возилась вокруг русоволосой женщины с утомленным лицом, которую Михневич назвал своей женою. В комнате был беспорядок. На стене висели лосиная голова и ружья. На столе валялись какие-то брошюры...

Семен Семенович Михневич, по-видимому, имел некото-

рое понятие о Лунине и смотрел на него с любопытством. Лицо Михневича показалось Лунину занятым. Оно все заросло свинцовой щетиной, а там, где не было волос, кожа на нем была похожа на измятую серую замшу. Когда Михневич смеялся, сотни морщин лучились на его физиономии и маленькие серые глаза светились лукаво. Одет он был в блузу и высокие сапоги.

Когда Лунин объяснил, зачем он приехал, Михневич набросил на плечи тулуп и пошел показывать дачу. Лунину все нравилось – и дача, и старая мебель в ней, и то, что обедать ему придется у священника, тестя Михневича.

– А что этот граф Бешметьев? – неожиданно спросил Лунин. – Вот он меня к вам подвез... Что он за человек? Вы его хорошо знаете?

– Встречался... Человек мне непонятный, молчаливый. И, кажется, от любви голову потерявший...

– От какой любви?

– А видите ли, этот самый Бешметьев женихом считается княжны нашей, Любви Николаевны. Только что-то свадьбу все откладывают... А граф, видимо, истомился. Одним словом, знаете, довольно глупая канитель вот уж второй год тянется... А вы как же? В город вернетесь? А то, если хотите, оставайтесь здесь: на ночь вас устрою; Мисаил дачу протопит...

– Если я вас не стесню, я останусь, пожалуй, – сказал Лунин, чувствуя, что слепнет от снега и мартовского солнца.



## II

Сад перед дачей весь был в сугробах, и только одна дорожка была протоптана до калитки. Утром пришел Мисаил ставить самовар и начал разговор по собственной охоте.

– Вчера видели княжну с женихом. Подъезжали к самой станции, а потом повернули – и домой. Княжна правит, а он с нее глаз не спускает. Чудная эта княжна. Второй год невестится...

Лунин ничего не ответил, но Мисаил не унимался и еще с полчаса топтался у порога, расспрашивая Лунина обо всем, о политике, между прочим: не был ли Лунин в Петербурге девятого января и не видал ли попа Гапона?<sup>[1]</sup> И кто такой Каляев?<sup>[2]</sup> И что теперь делается в Черниговской губернии? У него, Мисаила, под Черниговом тетка Лукерья живет, болеет ухом, но баба хорошая.

Когда Мисаил ушел, Лунин сел было работать, но вскоре встал и долго бродил по комнате, потирая руки и бормоча.

В три часа с лаем влетела на террасу собака и закружилась по ней, яростно стуча хвостом. Послышался молодой, свежий голос:

– Сверчок! Сюда! Сверчок!

Это кричала Наташа, с которой вчера познакомился Лунин.

– Борис Андреевич! Я за вами пришла.

Пошли обедать к отцу Григорию. Авдотья Павловна угощала жирными яствами и хлебным квасом. Ни водки, ни пива не было – и это даже умиляло Лунина: так он отвык от трезвой жизни.

Сам отец Григорий, старик с тяжелой седой бородой и грустными глазами, говорил мало. Зато сын его, Эксакустодиан, студент со значком общества «Громобой», затеял разговор на серьезные темы.

Говорил сердито и неуверенно:

– Войну проигрываем, потому что в войсках крамола. А в Писании сказано: «Противящийся власти, противится Бо-  
жью установлению»<sup>[3]</sup>. Святополк-Мирский на том свете ответит за потворство бунтовщикам... А может, и здесь успеем посчитаться с либералами...

Лунин заметил, что глаза у него тусклые, как у мертвой рыбы, кожа на лице дряблая, губы вялые... И слова его были тяжелы и скучны. И очень ему хотелось, должно быть, чтобы Лунин возражал, но Лунин молчал.

Тогда Эксакустодиан Григорьевич продолжал:

– Вообще разврат пошел... Вот еще декадентство... Оно хуже, чем анархизм, потому что посягает на корень вещей...

– Эксакустодиан! – сказала Наташа. – Ты на дятла похож...

– Мамаша! Слышите, что она говорит? Уймите безобразницу! – крикнул Эксакустодиан, и неожиданно в тусклых глазах его загорелся огонь.

После обеда Наташа предложила Лунину идти на лыжах.

Они с трудом, проваливаясь в снег, добрались до дороги, а там легко, по насту, побежали к княжескому парку.

Воздух был прозрачен, и было приятно бежать, но уже хрупок был подтаявший снег, казавшийся лиловым под солнцем.

Наташа с веселым любопытством посматривала на Лунина. Ему нравилась эта семнадцатилетняя девушка, но он не знал, о чем и как надо с ней говорить: так далек он был от юности и так редко видел молоденьких девушек.

– Я знаю, что вы в Петербурге встречали Анну, – сказала она и покраснела. И, помолчав, прибавила: «Надо признаться: я завидовала ей, право...»

– Вот этого я не понимаю, – сказал Лунин, улыбаясь.

– Ах, это так понятно, Борис Андреевич! Я видела ваши картины. Я люблю их. И вот интересно и страшно увидеть того, кто что-то разгадал, чего другие до него не понимали.

– Я думаю, что творчество – болезнь, – сказал Лунин серьезно, – и все мы, художники, – больные. Знаете ли, вроде чахоточных. В сущности, от нас надо подальше: мы заразительны.

Наташа звонко засмеялась.

– Ах, какие глупости!..

– Нет, Наталья Григорьевна, я не шучу. Пока мы здоровы, все кажется обыденным, а вот заболит душа – и начнешь видеть по-новому, все станет фантастическим, интересным,

необыкновенным. Но самое плохое – это то, что мы, соблазнившись необыкновенным, начинаем поддерживать в себе болезнь и все стараемся запомнить что-то и запечатлеть. Это – самое стыдное. От такой вечной корысти мы уж делаемся не холодными и не горячими, как надо быть человеку и как Писание велит, а только теплыми<sup>[4]</sup>. При такой средней температуре мы и живем, и любим, и страдаем. Когда настоящий любовник убивает, мы только картину пишем. И это ужасно: здоровый человек один раз в страсти преступление совершит, а художник десять раз убьет, пока картину напишет. Это, кажется, нехорошо, что я молоденькой девушке такие вещи говорю, а впрочем, все равно...

– Мне все можно, – сказала Наташа серьезно, – я взрослая...

– Так вот, – продолжал Лунин. – уж кто-кто, а художник наверное погибнуть должен. Такое у него нехорошее ремесло. Возьмите поэта какого хотите великого, со всеми его прозрениями, с его великолепной мечтой, и все-таки в конце концов, если подслушать его шепот, услышишь неожиданное и кощунственное признание, от которого разум туманится... Художник обречен на вечные падения и муки. Он всегда оскорбляет то, что ему дороже всего в сущности... Я, пожалуй, всем не сказал бы этого и не написал. Ведь все равно не скажешь самого главного... Да и стоит ли открывать всем всю правду? Я вот сейчас так разговорился с вами, не знаю почему. Мне кажется, что я говорю с юностью вообще, не

с тою, что суетлива, многошумна, а с тою, что задумалась и чего-то ждет. Это оттого, что сейчас тишина такая снежная, и вот пахнет весной, и глаза у вас милые...

Так разговаривал с Наташей Луниной, стоя у конца просеки, откуда был уже виден княжеский парк и ближе – пруд, теперь занесенный снегом, заметный только потому, что на нем чернела купальня.

С другой стороны, за взбугрившимися снежными холмами, синели дымки деревни. Оттуда слышался сиповатый лай, и казалось, что там сейчас большая грусть.

– А вам нравится Анна? – неожиданно спросила Наташа, наивно и доверчиво заглядывая в лицо Лунина.

– Нравится.

– Да, да... Она – необыкновенный человек! – прошептала Наташа мечтательно. – Вы знаете, вот я сестра ее, а я почти влюблена в нее, право. Если бы я была мужчиной, я бы сказала ей, что вот пусть она прикажет мне – и я брошусь в огонь, умру за нее. Но я боюсь ее, Борис Андреевич. Вы знаете, она жестока. Она никого не жалеет. Она только красоту любит и больше ничего не любит.

– Жестока?

– Да, да... Что вы так смотрите на меня? Если человек слабый и бесталанный будет гибнуть на ее глазах, она не пожалеет его никогда. А вот над стихами Пушкина она плачет. Прочтет: «Когда для смертного умолкнет шумный день»<sup>[5]</sup>, – и слезы, слезы... А как она красива! Правда, она красива?

– Да.

– У нее лицо меняется, как небо. Тень такая серебристая пробежит – и все черты, и все краски делаются новыми, неожиданными... А какие брови у нее умные и строгие. И тишина в них какая. А где-то далеко в глубине глаз – черная буря... Ведь я правду говорю, Борис Андреевич?

– Да. Правду.

– А рот у нее – как осенняя роза темная...

– Да, да... Как роза темная...

– Ах, я люблю Анну, люблю Анну...

В это время послышался звон бубенцов и на дороге показались шведские санки, запряженные парюю. Кто-то ехал на станцию.

– Это княжна и Бешметьев, – сказала Наташа, – они каждый день катаются.

Когда санки мчались мимо, Лунин увидел белокурую девушку в собольей шубке. Девушка ударила бичом и звонко крикнула:

– Здравствуйте, Наташа...

Бешметьев раскланялся с Луниным.

– Я не люблю княжны, – сказала Наташа, – я знаю ее. Она холодная, как лед...

Назад они бежали на лыжах молча, и, только прощаясь, Наташа спросила Лунина:

– А мужа Анны вы знаете?

Лунин нахмурился и ответил сухо:

– Нет. Не знаю. Я познакомился с Анной Григорьевной, когда ее муж был в экспедиции, на Алдане... Он ведь и сейчас там...

– Да, да... Кажется, впрочем, он летом вернется...

– Вот как. А вы с ним дружны?

Наташа засмеялась:

– Вы знаете, он похож на автомобиль. Вы сами увидите. Он – неудержимый, и в нем рычаги какие-то.

Наташа опять засмеялась.

### III

Наконец пришла настоящая весна, с половодьем, грачами и великолепным шумом апрельского ветра. Лунин, в высоких сапогах, с крепкой палкой в руке, бродил по окрестностям. Доходил до речки Чернявки и подолгу стоял, прислушиваясь к ее ропоту, и смотрел с любопытством на ее пенистые мутные воды.

В княжеском парке работники убрали мостки, и уже подсохли дорожки, щедро посыпанные красным песком. Управляющий велел снять деревянные футляры со статуй. Теперь Киприда и Амур, Громовержец и Марс<sup>[6]</sup> розовели в лучах весеннего солнца.

Прошлогодние листья, сметенные в кучи, остро пахли. Круглую беседку исправляли кровельщики. Они ходили по крыше, распевая во все горло. И железо гнулось с громким треском под босыми ногами.

На широкой аллее встречал часто Лунин княжну и Бешметьева. Они катались верхом. Княжна, в амазонке, с густыми рыжеватыми волосами, выбившимися из-под черной шляпы, казалась красивой, смелой, весенней... Бешметьев страстно смотрел на нее.

Она кивала Лунину как знакомому. Один раз ему показалось, что княжна обернулась смеясь и как будто хотела что-то сказать ему, но потом ударила лошадь хлыстом и пустила



ее галопом.

По утрам, когда Лунин, проснувшись, открывал глаза, потоки весеннего солнца обрушивались ему на грудь. Ему казалось, что снова молодость посетила его. Он торопился одеться, распахнуть дверь на террасу.

Однажды, когда он вышел так, приветствуя небо и влажную апрельскую землю, сердце его полетело на крыльях в непонятную голубизну: перед Луниным стояла Анна Григорьевна.

Она была вся тут перед ним, обжигая его сиянием своих глаз, вся томная, ожидающая, влюбленная, как весенняя земля.

Он стал на колени, не находя слов, бормоча несвязно:

– Ты... Ты... Опять со мной... Люблю, люблю...

Он припал к ее рукам. Потом торопливо повел ее в комнаты. На пороге они остановились, не в силах идти дальше. Она приникла к нему, и губы их встретились. Лунину показалось, что вот он сейчас открыл что-то новое в Анне, что и поцелуй ее какой-то новый.

И когда Лунин увидел ее распустившиеся волосы и глаза, потемневшие от страсти, и ее грустную улыбку, он богомольно прижался к ее ногам.

– Люблю... Люблю...

– Все – как сон! – сказала она, делая такой жест, как будто она отмахивается от видения. – Все как сон, Борис! Я не знаю, что со мной... Мне хорошо, мне хорошо. И откуда это

голубое вокруг? И этот шум откуда?

– Это весенний шум, Анна.

Они вышли на террасу, и Анна, простирая руки, громко кричала:

– Здравствуй, апрель! Здравствуй, лес мой!

И вот, когда она так стояла с поднятыми к небу руками, изнемогая от любви, Лунин вдруг сделался мрачным, как будто вспомнил что-то.

– Когда приедет муж? – спросил Лунин сухо, стараясь не смотреть в глаза Анны.

– В июле, вероятно. Он сам не знает, должно быть. Они замолчали.

– С мужем все кончено, – сказала Анна Григорьевна тихо, – разлюбишь ты меня или нет – с мужем я жить не стану.

– Да. Но ты жила с ним.

Анна Григорьевна со страхом посмотрела на Лунина и стала торопливо поправлять прическу.

\* \* \*

За обедом Анна Григорьевна сидела бледная, и на губах ее была улыбка, слабая и печальная.

Наташа волновалась и даже спросила, не утерпев:

– Анна! Что с тобою, Анна?.. – и грозно посмотрела на Лунина.

Эксакустодиан, ничего не замечая, рассуждал о политике:

– Русские люди должны сплотиться... Интеллигенция ожидала: министры трусят и либеральничают.

Отец Григорий кивал задумчиво головой и говорил как будто некстати:

– Не высокоумствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе...

Авдотья Павловна угощала пельменями. Иногда восклицала, обращаясь к Анне:

– Прекрасная ты моя! Уж рада я тебе и не знаю как. А муж-то когда приедет?

– В июле, должно быть.

И, забыв ответ, немного погодя опять спрашивала:

– А муженек-то когда приедет?

Принесли телеграмму со станции.

– Анне Григорьевне Полянской.

Она покраснела, распечатывая. Кто-то спросил:

– От кого это?

Она прошептала:

– От мужа. В июле приедет.

И скомкала в руке телеграмму.

## IV

Михневич пришел к Лунину с большим листом и сказал:

– Пожалуйста подписаться, Борис Андреевич.

– А в чем дело?

Михневич стал рассказывать что-то сложное об обществе трезвости, о народном доме, об исправнике Усачеве...

Лунин махнул рукой и взял перо. Подписываясь, заметил, что в числе учредителей есть и княжна.

– Вот нашего полку прибыло, – сказал Михневич. – Пойдемте, я вам огороды мои покажу за то, что вы человек сговорчивый.

Шли лесом. Там было сыро и мглисто, а в ямах поглубже лежал даже кое-где снег. Шумно пролетел глухарь, испугав Лунина.

Михневич говорил о социализации земли, и казалось, что он вслух читает брошюру – так у него все гладко выходило.

Лунин, улыбаясь, сказал:

– Вот вы складно говорите, Семен Семенович, а все-таки вы мне больше нравитесь, когда молчите. Вы не обижайтесь. Я не хочу сказать, что вы худое говорите. Только такие слова, знаете ли, всегда бескровны, а вот то, что у вас взгляд лесной, что вы огород любите, что вот, я слышал, пчельник у вас великолепный, – это все как-то у вас по-настоящему... Лес и пчелы – прежде всего, а все прочее – литература.

Михневич лукаво и весело засмеялся:

– Я – пчеловод. Это правильно. И огородник я. Боюсь, по правде сказать, что из нашей социализации одна литература выйдет.

Лунин заинтересовался:

– А у вас почему такие мысли, Семен Семенович?

– Как вам сказать... Устали мы ждать преобразований всяческих и, потеряв терпение, за двумя зайцами, пожалуй, погонимся. А это всегда к худому.

– Однако вы – социалист.

– Помилуйте-с. Я человек чистоплотный. Социалистом быть – все равно что перед обедом руки не мыть. Только малыми делами мы заняты. Вот огород наш на кооперативных началах устроен...

– Это я слышал. Но вот насчет неудач вы как-то туманно выражаетесь. А что же помешает вашему делу?

– Многое. Во-первых – истерика...

– Как истерика? Этого я что-то не пойму.

– Истерика не только с медицинской точки бывает, знаете ли, интересна, но и с общечеловеческой, так сказать. Наш интеллигент русский чересчур истеричен, в том смысле, что легко колеблется в своих настроениях. В медицине тоже некоторые определяют истерику как легкую внушаемость. Ветерок повеет, а интеллигент, как домик картонный, – на боку. И затем – потеря мерности, лада и гармонии, так сказать. Все у нас порывами и скачками. И в революцию мы

бросаемся зажмуря глаза. А это храбрость не русская. Значит и наш интеллигент от русского начала оторвался...

– Однако, Семен Семенович, вас товарищи ваши еретиком, пожалуй, назовут...

– И уж называли не раз. Они меня терпят, потому что полезный я для них человек. Однако когда я в ссылке был в Вологодской губернии, судили меня однажды.

– За что?

– Не за идеи, а за безнравственное поведение.

– Как так?

– А очень просто. Хорошо, что о моем грехе жена заранее знала. А все-таки ей много неприятностей товарищи доставили.

– Однако это любопытно.

– Да что ж. Извольте, я расскажу... Дело прошлое... Жену я свою люблю и уважаю, но бывают у меня какие-то припадки странные – иначе мои безнравственные поступки затрудняюсь назвать. Вдруг что-то загорится на сердце при иной встрече, и тогда пиши пропало: непременно спутаюсь и что-нибудь натворю. Потом это проходит. И даже как-то нежнее и болезненнее после того жену любишь. Вот и там, в Вологде, случилась со мной история: влюбился я в жену аптекаря. Молоденькая была бабенка. И веснушки, знаете ли, на носу. Не знаю, чем она меня покорила. И что же? Пронюхали товарищи и суд устроили. Развратное, дескать, поведение не соответствует достоинству государственного преступника.

Лунин засмеялся.

– Хорошо, что аптекарь-немец метафизикой увлекался, – продолжал Михневич, улыбаясь, – как-то не очень обратил внимание на эту историю, а то бы беда была. Ну а жена моя меня простила...

– Но и вы тоже меня удивляете: как же это – любите жену, а сами аптекаршей занялись...

– Конечно, это худо. Я себя не оправдываю. Но ведь будьте снисходительны. Вы подумайте. Женился я ровнехонько тринадцать лет тому назад. Сегодня как раз годовщина свадьбы нашей. Должен я вам сказать, что за это время я в жену свою раз восемь влюблялся и все по-разному. Но, признаюсь, месяцами равнодушен бывал, хотя, вообще говоря, и любил ее. Вот в такие темные дни и случались со мной истории. Она умная. Она понимает.

– Но позвольте, однако. В таком случае вы и ей должны свободу дать. Ведь и она может увлечься.

– По логике это так выходит. Не смею спорить. И принципиально согласен. Но, знаете ли, из такой справедливости ерунда получилась бы. Тут логика вверх ногами ходит.

В это время вышли они из лесу. За канавой протянулись огороды. На черных грядках пестрели девки. Михневич что-то зычно крикнул им, и они засмеялись в ответ.

Одна из них пошла навстречу. Увидев незнакомого, остановилась было, застыдившись.

– Ты что, Акулина? – сказал Михневич. – Твой черед са-

мовар ставить?

– Мой, Семеныч.

Она стояла, босоногая, с подоткнутой юбкой, улыбаясь, обнажая белые ровные зубы.

– Вот, на! – сказала она, протягивая Михневичу маленькую книжку в красной обложке. – Прочли мы. А другую на завтра оставь.

– Ладно.

Сели пить чай за длинный стол под навесом – Лунин и Михневич вместе с девками. Прежде чем сесть за стол, бежали девки в сарай поправлять волосы перед осколком зеркала.

Лунина конфузились немного, а с Михневичем были за просто.

Собирались облака растрепанные, волокнистые. Надвигаясь, чернели. Кто-то сказал:

– Ох, гроза скоро! По весне первая.

И в самом деле что-то глухо застучало мелким стуком в темном небе. Упало несколько капель крупных на деревянный навес.

Все пошли гурьбой в сарай, где устроены были сплошные низкие нары. Девки сбились в кучу, смеясь. Повевал ветер, взвивая черную пыль, видную из открытой настежь двери. Зашумели шумом шепотливым мшистые ели и сосны. Красноватый свет ослепил глаза на мгновение. И троекратным рокотом гром приветствовал трепетную землю.

Дождевые капли торопливо вразброд застучали по кры-



ше. Как черные разодранные ткани висели тучи на небе. И вдруг хлынули сверху потоки и все смешалось.

Громыхал тяжело гром, как будто кто-то громоздкий катился по каменным ступеням лестницы высокой, стуча. И незримая рука рассекала непрерывно сумрак острым ножом, оставляя на мгновение кровавый след.

## V

Приехал исправник Усачев, толстый и сонный человек, и с ним совсем пьяный становой. Они ходили вокруг народного дома, размахивая руками. За ними – крестьяне-понятые с видом обреченным и понурым.

– Позвать сюда господина председателя общества трезвости села Пустынина! – сказал строго исправник, обращаясь к понятым.

Мужики не поняли, кого надо позвать.

– Тезку моего позовите, Семена Семеныча, милые вы мои! – сказал становой ласково. И потом неожиданно прибавил непечатную брань: «Ну, марш! Живее!.. Такие-сякие...»

Пока ходили за Михневичем, исправник сидел на крыльце и дремал. Его лысина розовела в лучах солнца, склонявшегося медленно к березовой роще.

Когда пришел Михневич, исправник сделал кислое лицо и сказал:

– Вот, батенька, и дождались: опечатать приказано...

Исправник долго объяснял, по какой причине не разрешен устав общества трезвости и почему надо опечатать народный дом, но понять его было трудно.

Становой сказал:

– Трындили-брындили, а что толку? Плюньте, Семен Семенович, и дело с концом...

Потом исправник, кряхтя, взобрался на крыльцо и сказал:

– Ну, Семен Семенович, приступим...

Приложили большие бурые печати.

Внутри, из-за двери, послышался жалобный писк.

– Ах, грех какой! – вздохнул понятой. – Кота опечатали...

Васинька... Кыс... Кыс...

В это время к народному дому подъехали в шарабане княжна с Бешметьевым.

– Вот вам и спектакль! – сказал Михневич, здороваясь с княжной. – Опечатали нас, княжна...

– Ах, Бог мой! Где же мы будем играть?..

– Не знаю.

– Как нескладно! – пробормотал Бешметьев. – Как нескладно...

Исправник подошел к Бешметьеву с приятной улыбкой:

– Если бы вы, ваше сиятельство, написали губернатору...

– Нет, где же нам устроить спектакль? Где? – волновалась княжна.

– Можно в оранжерее старой, – сказал Михневич, сообщая.

– В самом деле, в оранжерее. Пожалуйста, Семен Семенович, не отменяйте репетиции... Сейчас все туда и пойдём... И остальным надо сказать... Граф скажет. Пойдите, голубчик. Может быть, вы, граф, и Бориса Андреевича приведете?

Граф поклонился покорно.

Огромная старая оранжерея, с разбитыми кое-где стекла-

ми, вся светилась в вечернем солнце: на полу легла большая радуга семицветным ковром. Внутри оранжереи воздух был влажный и от стен веяло приятной прохладой. Михневич отгородил часть оранжереи скамейками и сказал:

– Вот здесь будет сцена. Пожалуйста, господа, начинать...

– Позвольте, – сказала княжна, – кажется, еще не все собрались... Вот Лунина нет. Без него нельзя.

– Да вот и Борис Андреевич! – сказал белокурый студент Чепраков, который должен был играть Кудряша<sup>[7]</sup>.

Княжна первая подошла к Лунину.

– Наконец-то мы с вами познакомились. Вы должны нам помочь, не правда ли? Вы будете играть?

– Нет, простите, я пришел извиниться. Играть не умею. Да и страшно это...

– Жаль как! – сказала княжна. – Ну, делать нечего, графа играть заставим. А вы все-таки не уходите. Граф! Будете играть?

– Хорошо. Я согласен.

– Вот здесь первая кулиса. Здесь скамья. Мы начинаем, господа! – кричал Михневич.

Лунин вышел из оранжереи. Благоухали томно липы. И легкий шелест вечерний чаровал сердце. Кое-где червонились стволы и листья, но уже благовонный сумрак, сгущаясь, осенял парк. Лунин сел на чугунную скамейку.

«Вот сейчас придет она. И будет сладостно и больно. Так надо, надо...»

И в самом деле Анна шла по аллее, как сомнамбула, как будто ведомая неведомой силой.

Она подошла к Лунину совсем близко.

– Борис! Борис! Зачем ты не веришь? Я люблю тебя... Люблю...

Он поднялся, дрожа.

И когда она прижалась к нему, закинув голову и полуоткрыв рот, и когда он увидел темные, страшные и влекущие ее глаза, все вокруг показалось ему волшебным.

– Люблю... Верю тебе... Люблю...

Уже погасло солнце, и парк стал таинственным и шепотливым. Лунин и Анна шли молча вдоль пруда. Переливаясь живою ртутью, сияла лунная полоса на воде. А на том берегу, в темно-лиловых кустах, пел соловей нежно и свирельно.

Чьи-то шаги послышались. Бесцельно и слепо отошел в сторону Лунин, увлекая за собой Анну. И медленно прошли мимо них Бешметьев с княжной.

Граф говорил печально и страстно:

– Вы мучаете меня, княжна. Но сладки мне эти муки. Любовь моя – пытка.

Княжна засмеялась.

– Любовь всегда пытка, мой друг.

## VI

Эксакустодиан пришел к Лунину и долго сидел у него, разговаривая о незначительном, выпучив рыбы свои глаза.

Лунин угощал его чаем, и он пил грустно, наливая на блюдечко жиденский чай и обсасывая кусочки сахара. Неожиданно сказал, бледнея:

– Я пришел к вам объясниться, потому что с господином Михневичем, с Чепраковым и с моими сестрицами я разговаривать не хочу. Доколе это будет продолжаться?

– Что такое? – не понял Лунин.

– Да вся эта мерзость крамольная.

– Простите меня, Эксакустодиан Григорьевич, но я, право, не пойму, что вас так волнует.

– Как что? А по-вашему, хороша эта затея со спектаклем и вся эта история с народным домом? Вы думаете, князь Николай Николаевич знает, на что деньги пойдут? И княжна знает? И граф Алексей Петрович...

– По правде сказать, и я не знаю.

– Ну, так я вам скажу: денежки пойдут жидам-революционерам на забаву, а нам, русским людям, на позор.

Лунин сухо засмеялся.

– Скучное вы говорите, Эксакустодиан Григорьевич.

– Скучное? Вот от таких слов и Россия гибнет.

– А разве Россия гибнет? – спросил Лунин, заинтересованно.

вавшись.

Эксакустодиан встал со стула и, сложив руки на груди, как святые на иконах, испуганно прошептал:

– Гибнет... Гибнет... Гибнет...

Нахмурился Лунин.

– Что вы как ворон... И странно: недавно разговаривал я с Михневичем – и он тоже как-то мрачно смотрит и даже в социализацию свою не верит.

– Да, да... Чепраков верит, а он нет... И сестры верят, а он нет... Он только от досады бунтует, а ему все равно.

– Ну, вы не совсем справедливы, а вот то, что вы, черносотенец, так мрачно каркаете и что этот радикал Михневич тоже не очень светел – все это любопытно и, пожалуй, страшно...

– Что же, по-вашему, делать надо?

– Перевешать крамольников... Народный дом сжечь... Еретиков в монастырь заточить...

Когда Эксакустодиан говорил так, губы его дрожали, как в лихорадке, и он задыхался, кашлял и, наконец, сел на стул, изнемогая, прижав ко рту платок. На платке заалели пятна крови.

Эксакустодиан показал на пятна и прошептал:

– Умираю... И у сестры Натальи тоже чахотка... – И потом, злобно смеясь, прибавил: – И вы небось недолго проживете. Да и всему скоро конец, слепой вы человек.

– Как вы смерти боитесь! – невольно вырвалось у Лунина.

– А вы не боитесь?

– Нет. Думаю, что нет.

– И я не боюсь, – сказал серьезно Эксакустодиан, – я тишины хочу и покоя. Вот поэтому я бунтовщиков не люблю. За беспокойство. – И вдруг неожиданно прибавил: – А вы знаете, я в прошлом году в тюрьме сидел.

– Вот как. За что?

– К сестрам рабочий один приходил с завода Пруста. Думали, что ко мне, и меня арестовали. Недели через две выпустили: я сказал, что верноподданный, и тогда же в «Громобой» записался. А потом я слышал, что рабочего этого повесили в Варшаве.

– Не надо смерти бояться, – сказал задумчиво Лунин.

– Не надо? А вы голоса слышите?

– Какие голоса?

– А я слышу. Тоненькие такие голоса: «Эксакустодиан! Я здесь... Эксакустодиан! Я жду...» А в глазах – голубизна такая. А весной, когда мы еще в городе жили, ко мне рабочий этот варшавский пришел. Показалось мне, что звонок. Пошел я дверь отворить. Дело было в сумерках. Отворил – никого. Я запер дверь и вдруг вижу: рядом стоит он. Я и думаю, как же он пришел... откуда?.. Забыл сначала, что повесили его... А он, как и раньше был: рябой и борода рыжая. Поклонился мне и говорит: «До свидания, товарищ...» А сам в коридор не спеша. И слышу, как сапоги поскрипывают.

– Как же вы толкуете это?



– А никак не толкую... Однако будьте здоровы: мне пора.

Лунин вздохнул свободно, когда ушел Эксакустодиан. Но тотчас же опять показалась на пороге его высокая, плоская фигура. И, задыхаясь, он прохрипел в лицо Лунину:

– Я все знаю... Все знаю... Я не позволю... Приедет муж Анны, я открою ему глаза, бесчестный вы человек.

– Вы больны. Опомнитесь! – едва успел закричать вслед ему Лунин, потому что Эксакустодиан бросался бежать, не оглядываясь.

## VII

Вокруг оранжереи висели китайские фонарики. Около ограды стояли шарабаны, коляски и линейки приехавших на спектакль дачников.

Пришел князь Николай Николаевич, опираясь на палку. Седой, строгий, с усталыми умными глазами. Приехала смотреть дочерей на сцене попадья, Авдотья Павловна, торжественная, в сиреновой шляпке; жужжали дачницы, осматривая наряды ревнивыми глазами.

Наконец поднялся занавес.

Лунин смотрел на Анну и знал, что она это, и не узнавал ее.

Откуда эта страсть темная? И как полнозвучен голос ее! Как мучительно прекрасны глаза эти!

«Мне хоть умереть, да увидеть его. Перед кем я притворюсь-то? Бросить ключ? Нет, ни за что на свете! Он мой теперь... Будь что будет, а я Бориса увижу. Ах, кабы ночь поскорее...»

«И меня зовут Борисом», – подумал Лунин.

Он был как во сне, как очарованный.

Опустили занавес, а перед глазами Лунина все еще стояла безумная Катерина с ключом в руке. И мерещились ее влюбленные глаза...

Лунин прошел за кулисы. Нельзя было узнать оранжерею,

где так недавно было просторно, пахло влагой, листьями. Теперь здесь, за кулисами, суетились в тесноте и уже иным пахло – пудрой, красками и еще чем-то театральным.

Прошел Михневич с подклеенной бородой, возбужденный, размахивая руками, и не заметил Лунина, хотя смотрел на него; Наташа торопливо своей горячей рукой пожала Лунину руку; за перегородкой, когда распахнулась занавеска, видно было, как сидит перед зеркалом княжна и горничная обсыпает ей пудрой розоватую шею... Наконец Лунин увидел Анну, и они отошли в сторону, в угол, где стояла кулиса – три березы.

– Анна! Ты – актриса, – сказал Лунин, с восторгом вглядываясь в безумные незнакомые глаза с фантастическими синими кругами под ними, в странно алый рот, в это изменившееся и по-новому влекущее лицо.

– Ах, я, право, не знаю, так ли надо играть. Я ведь по-настоящему никогда не играла... Но тебе нравится, милый? Ну, ступай, ступай... Я ведь не Анна, я – Катерина сейчас...

Лунин отошел от нее, опьяненный ее глазами.

Да, это не Анна... Это не только Анна. Как будто бы вошло в душу Анну что-то новое – живое и страшное.

После спектакля большой компанией отправились домой пешком; одна лишь Авдотья Павловна поехала впереди в ша-рабанае.

Тускло-золотистая воздвиглась высоко на небе луна, и от ее волшебного света казалось, что в лесу таятся белые фигу-

ры, и нельзя было понять, кто это – живые или мертвые. И как будто бы луна вела с землей безмолвную беседу тайными знаками. Холодная лунная душа открывала нашему миру свои извечные правды, смутные для земного сердца.

Луна всегда влияла на Лунина, и теперь он шел как зачарованный. Не верилось, что нет соответствия между лесом этим черно-серебряным и какой-то иной правдой там, в омуте сердца.

– Какая тишина! – сказала Наташа, коснувшись теперь холодными пальцами руки Лунина.

– Да. Тишина... И вот все изменилось. И ваше лицо теперь иное. И руки стали холодными.

– У меня лихорадка, – прошептала Наташа, заглядывая в глаза Лунину.

Лунин вспомнил, как говорил вчера Эксакустодиан, что у Наташи чахотка и что она умрет скоро.

И тогда Наташа, как бы угадав его мысли, сказала, задыхаясь:

– Пойдемте тише. Я хочу сказать вам одно слово... О моей чахотке...

– Какая чахотка?.. Не надо... Не надо...

– Борис Андреевич! Я хочу спросить вас...

– Я слушаю вас, Наташа.

– Я хочу спросить, что значит, если человек какой-нибудь покажется не таким, как все; когда вдруг веришь, что есть мир без этого человека – простой, понятный, плоский такой

и еще другой есть мир – с ним, с человеком этим; и когда видишь этого человека, слышишь его голос, касаешься его рукой, все кажется таинственным, непонятым, глубоким. И тогда не боишься смерти, чахотки, ничего не боишься... Вот я теперь ничего не боюсь... Что это значит, Борис Андреевич?

– Это любовь, Наташа.

– Любовь? Ах, как страшно... Вы верите мне?

– Да, верю, Наташа.

– Я никогда не спросила бы вас об этом, если бы я не знала, что скоро умру.

– Зачем говорить так? Вы молоды...

– Я скоро умру... А вы... вы... Идите к Анне...

Наташа слегка оттолкнула руку Лунина и догнала ушедших вперед.

– Какая странная Наташа! – сказал Лунин задумчиво, подходя к Анне.

– Милый! Будь с нею осторожней! – прошептала Анна, прижимаясь к плечу Лунина. – Она влюблена в тебя.

## VIII

Наступали события странные и тревожные. Подымалась волна людская и несла свой высокий гребень от Восточной Сибири до Великороссии; с новым порывом Бог весть откуда прилетевшего урагана вздымались новые косматопенные волны и, шумя, неслись от Петербурга до Черноморья.

И вокруг Пустынина закружилась, заметалась жизнь, как ласточка перед грозой. Забастовали по соседству фабрики суконных изделий купцов Растороповых. Два дня рабочие ходили с красным флагом и пели громко «Вставай, подымайся...». Пустынинские парни читали книжечку «На Бога надейся, а сам не плошай». И книжечка нравилась молодежи... В княжеского управляющего кто-то бросил камнем, когда он проезжал по деревне на беговых дрожках, и теперь управляющий ходил с подвязанной рукой.

Жена Михневича, Александра Григорьевна, совсем забросила ребят и целый день возилась с мимеографом. Наташа по воскресеньям читала в школе мужикам Глеба Успенского и потом долго кашляла, и на щеках у нее выступали красные пятна; поговаривали, что скоро через Пустынино проедет какой-то организатор и все устроит, а пока студент Чепраков обрил себе бороду для конспирации, и когда ходил к растороповским рабочим, брал с собою браунинг.

В это же время в трактире собирались политики ради

Федька Хромой, купец Тароватов и Эксакустодиан Григорьевич. Они пили пиво.

Купец Тароватов говорил:

– Ежели девок к участию в прибылях господин Михневич допустил, что же выйдет из такого, с позволенья сказать, огорода? Я бы девок лозой, а Михневича-господина – куда Макар телят не гонял. А давеча вот пришел ко мне в лавку Савельев-сын и говорит: «Кровопийца ты и жулик, Тароватов». Я – за безмен, а он мне из двери кричит: «Ужо брюхо тебе распотрошим, такой-сякой...» Ежели мы не обратимся к губернатору насчет казаков, никакой возможности жить не будет.

Федька Хромой яростно перебивал.

– Дело, купец, не в казаках, а в русском чувстве. Патриот ты или нет? Говори прямо.

– Я патриот.

– А ежели ты патриот, по какому такому праву у тебя до сих пор значка нет?

– Да я бы не прочь, Федя: только ведь, ты говоришь, сто рублей вносить надо. А вот Эксакустодиан Григорьевич без денег в истинно русские люди произведен...

– Эксакустодиан Григорьевич – образованный человек, а ты кто? Хам...

– Федя! Ты не бранись... Что ж, я сто рублей могу...

Тогда вступал в беседу Эксакустодиан. Говорил он вдохновенно, бледный, и теперь глаза его не были тусклыми.

– Россия гибнет от размягчения сердец. Люди забыли Бога и своего государя. Ожидовела Россия. Жиды всегда суеются, потому что душа у них мышьяная. Жиды суею Россию заразили. А мы, русские люди, суеты не желаем. Правильно я говорю?

– Правильно, Эксакустодиан Григорьевич, правильно.

– Нужно в холоде сердца наши укрепить. Никого не пожалеем, Россию-матушку пожалеем.

Эксакустодиан стукнул по столу кулаком.

– Погром – говорите? Ну, что ж. Погром так погром. Лучше жидовскую кровь пролить, чем Россию великую погубить.

Кашель душил Эксакустодиана.

– Мы, русские люди, благообразия и тишины желаем. Лучше благообразно умереть, чем жить по-собачьи, по-жидовски, и спешить куда-то к черту на рога. Весь наш прогресс гроша медного не стоит, и забыли мы исконные заветы и серьезность нашу великороссийскую. Правильно ли я говорю?

– Правильно, Эксакустодиан Григорьевич, правильно...

– Народный дом выдумали! Знаем мы дома эти... Зачем дома? Митинги устраивать, бунты заваривать. Вчера исправник приехал: печати снял... Бумагу привез: общество трезвости утверждено... Князь на свою голову, старый дурак, хлопотал. Не позволим дома открывать... К черту!..

– Не позволим...

– А по-моему, – завизжал Федька, подымая волосатый ку-



лак, – а по-моему, проучить пора крамольников...

Федька нагнулся к Эксакустодиану и что-то прошептал ему на ухо.

– Верно! – крикнул Эксакустодиан, сверкая глазами. – Верно. Я согласен...

И опять кашель стал душить его.

В понедельник, когда народ был в поле, закурился синеватый дымок над народным домом. Первым заметил его граф, мимо проезжавший на велосипеде. Он поспешил на станцию, где стояли бочки и насос пожарный. А когда удалось графу, и не без труда, заставить кое-кого взяться за машину и помочь запрячь лошадей и когда, наконец, подъехали бочки к народному дому, он был уже весь в огне.

Вокруг толпились мужики, прискакавшие с поля. Теперь они стояли и равнодушно смотрели, как посторонние.

– Ишь ты, тишина какая! – сказал кто-то, бессмысленно ухмыляясь.

Дым стоял прямым столбом, и огонь, то в алые, то закручиваясь в лиловые плащи, сжигал балки и стропила, как хорошо изготовленный сухой костер.

Облака, низко спустившиеся, казались коричневыми с красной каймой по краям.

В шарабанах приехали Анна Григорьевна и Михневич. Примчался за ними Сверчок.

Он стал как вкопанный и протяжно завыл. Михневич вылез из шарабана и сам взялся за насос. А когда огонь стал

гаснуть, Михневич подошел ближе и, что-то заметив, позвал мужиков.

– Это что? – сказал он, указывая на жестяную посуду из-под керосина.

– Ах, грех какой! – сказал, качая седой головой, один из мужиков. – Ах, грех какой! Это дело рук Федьки Хромого... Он уж давно похвалялся балаган сжечь...

– Ах, дьявол!

Лунин пришел, когда пожар кончился. Жутко было смотреть на черные обуглившиеся бревна и на зиявшие окна. Пахло горько гарью. А небо, теперь безоблачное, синело над пожарищем, как будто бы ничего не случилось.

К Лунину подошла Анна Григорьевна.

– Какая тоска! – сказала она. – Какая тоска! Поедем к нам, Борис. Тебя хочет видеть Наташа. Ей совсем худо. Был доктор и сказал, что ни за что не ручается. Подумать страшно. Господи!

В комнате Наташи пахло креозотом. Она сидела в кресле у окна – вся прозрачная, с обозначившимися голубоватыми линиями под тонкой кожей.

Она печально улыбнулась Лунину и прошептала:

– Солнце какое! Солнце!

И в самом деле четырехугольник окна сиял золотом. А за ним томно дышал благоуханный июль.

– Я счастливая, – сказала Наташа, – я люблю... Я тебя люблю, Анна.

Анна села на пол, у ног Наташи, и прижалась головой к ее коленям.

– А его можно любить? – прошептала Наташа, показывая глазами на Лунина. – Ведь теперь мне можно? Теперь мне не стыдно сказать, что люблю я...

Лунин стал на колени и прижался губами к маленькой прозрачной руке.

## IX

«Не убоишися от страха ночного, от стрелы летящая во дни, от вещи во тьме преходящая, от сряща и беса полуденного»<sup>[8]</sup>.

Казалось, что не умерла Наташа, что спит она, что цветы и ладан и все вокруг – сон ее и что вот проснется она – и тогда жизнь будет истинная.

И вот прозвучал вечный зов, влекущий сердце: «Богородице безвестная, верных спасение...»

Тихо было в церкви; один только Эксакустодиан то рыдал, то повторял громко тропарь: «Погибшее овча аз семь, воззови мя, Спасе, и спаси мя...»

– «Бес полуденный...» – думал Лунин. – «Что это значит?»

А когда он, после Анны Григорьевны поднялся на возвышение и, перекрестившись, коснулся губами руки Наташи, а потом венчика, он вспомнил, как три дня назад говорила Наташа: «Теперь мне не стыдно сказать, что люблю я...»

Был знойный день. Под ногами трава шуршала, как бумага, когда Лунин, Бешметьев, Чепраков и Эксакустодиан несли гроб Наташи на кладбище.

Вокруг могилы прямо пахло вербеной и резедой. Тонко и нежно пели мальчишки-певчие: «Упокой, Господи, рабу Твою...»

– Можно зайти к вам сегодня вечером? – спросил шепотом Бешметьев, наклонившись к Лунину.

– Пожалуйста.

А хор пел: «Ты мене утверди в любви Твоей».

На могилу положили три венка. Один был с красной лентой. И на нем была надпись: «Товарищу Наталии». Положили его какие-то смуглые парни в рабочих блузах.

Вечером пришел к Лунину Бешметьев.

– Я к вам по делу, Борис Андреевич... А если не вовремя, я уйду.

– Пожалуйста, пожалуйста...

– Княжна поручила мне просить вас написать ее портрет. Она – ваша почитательница и была бы счастлива, если бы вы согласились ее написать.

– Только не теперь, только осенью, в городе... Здесь не могу, право, – сказал Лунин, виновато улыбаясь.

– Хорошо. Я так и скажу княжне.

Граф поднялся, чтобы проститься, но Лунин задержал его руку в своей.

– Вы спешите? А я так был бы рад, если бы вы посидели.

– Нет, я не спешу. Я думал, вы заняты.

– Вот ваш портрет я бы с охотой написал, – сказал Лунин, взглядываясь в темные огни его глаз и в рот страстный и как бы надменный.

– И ваше лицо волнует меня, – сказал граф, – мне кажется, что во многих портретах, вами написанных, есть ваши

черты; как будто из души вашей что-то отдаете вы...

– Да ведь это всегда так. Ведь иначе и нельзя... А вот Анну Григорьевну пробовал я писать. Ничего не вышло. Не сумел. А жаль мне.

– Как странно!

– А это потому, должно быть, что я боялся свое вложить: мне хотелось совсем просто написать, чтобы красоту ее сохранить. И вот не вышло.

– Как страшно жить так, как вы: всегда около искусства. Ведь искусство – колдовство... Ведь один шаг – и уже разучишься верить, что дважды два – четыре. А без таблицы умножения с ума можно сойти...

– А я думаю, что не только художникам, но и вообще многим современникам нашим трудно теперь верить в логику и в прочность нашего отношения к миру. Все мы живем фантастически.

– О да! Да! – поспешил согласиться Бешметьев. – Это вы правду сказали: мы живем фантастически. Отчего бы это? Вот сейчас революцию переживаем мы – и я совсем вне политики, но представьте себе, я чувствую революцию как-то особенно, и мне все кажется, как будто бы веют над Россией какие-то силы тайные. Я об этом не говорю никогда, но вот с вами мне хочется говорить. И я думаю, что силы эти на все влияют... И особенно на любовь нашу. В восьмидесятых, скажем, годах люди не так любили, как мы теперь. Отчего бы это? Мы любим болезненно, тревожно, а иногда видим

свет какой-то голубой и слепнем от сияния, потому что его недостойны.

– Я это очень понимаю, – сказал Лунин тихо, как бы взвешивая свои слова, – я это понимаю, но, может быть, все, что вы говорите о новой любви и о тревоге нашей, все это – участь немногих, а там где-то, среди полей, да и вообще в провинциальной России, по-иному переживают революцию – более трезво, плоско и деловито.

– А я этого не думаю, Борис Андреевич. Там, в глубине России, не такими словами говорить станут на эту тему, но в сущности полевая Россия так же безумна, как и наш безумный Петербург.

Бешметьев посмотрел на часы и стал торопливо прощаться.

– Ах, мне пора, пора. А вы знаете, Борис Андреевич, у меня какое-то предчувствие есть: что-то нас должно связать в жизни. А что именно – Бог знает.

В это время на террасу, шлепая босыми ногами, вошел мальчишка и подал Лунину письмо.

– Простите, пожалуйста! – сказал, почему-то волнуясь, Лунин и распечатал конверт.

В письме было сказано:

«Борис! Приехал муж неожиданно. Сидит у меня. Приходи сейчас. Не хочу, не могу оставаться с ним с глазу на глаз. Пока не сказала ему ничего. Приходи, милый. Жду. Твоя Анна».

## Х

Дача Анны Григорьевны стояла на краю просеки, по соседству с дачей отца Григория. Перед террасой росли кусты роз, и благоухание их всегда волновало Лунина. И сейчас, когда он взялся рукой за калитку, голова его блаженно закружилась и сердце забилося чаще и радостнее.

Маркизы были спущены, и только видно было, что на столе лампа и кто-то высокий стоит посреди террасы. Лунин вошел молча, со смутной надеждой, что выяснится наконец все – и скоро, сейчас же. И ему казалось, что он ко всему готов.

Перед Луниным стоял высокий плотный господин в инженерной форме, красивый и надменный, с серыми пустыми глазами, с чертами лица как бы геометрически правильными, с русой бородой, расчесанной безукоризненно. Инженер вопросительно глядел на Лунина.

– Я – Лунин... Анна Григорьевна дома?

Инженер протянул руку:

– Полянский... Я хотел с вами познакомиться... Слышал о вас от моего beau-frere<sup>1</sup>, Эксакустодиана Григорьевича... Вчера он был в Москве, и мне довелось его видеть.

– Знает или не знает-, – подумал Лунин, нерешительно пожимая руку Полянского.

---

<sup>1</sup> Шурин (фр.).



Рука Полянского была как из стали, и что-то было в нем твердое, механическое. «Автомобиль», – вспомнил Лунин Наташино сравнение.

В это время вышла Анна, в траурном платье, бледная и строгая. Она поздоровалась с Луниным и пристально посмотрела ему в глаза, как будто спрашивая его, что надо делать теперь.

– Петр Ильич приехал сегодня вечером, – сказала она, как будто удивляясь его приезду.

– Да, да... Такие дела... И сегодня в половине первого еду в Москву на три дня. Потом вернусь.

– Я год учился в политехническом институте, – сказал Лунин неожиданно и некстати, – и потом бросил, поступил в академию и на филологический одновременно: испугался математики, точности и, главное, необходимой деловитости. Я ленив безнадежно... Вот вы сейчас сказали: «дела», а мне даже страшно стало.

– А я без точного плана жить не могу, – сказал Полянский серьезно и строго. – Лаплас<sup>[9]</sup> когда-то высказал мысль, что возможна идеальная математическая формула, охватывающая всю сложность жизни. Я разделяю эту мысль. И мне кажется, что мы должны жить, облегчая задачу гипотетического математика, то есть жить проще, планомернее, яснее. Леня всегда фантастична. Лентяй – всегда поэт. А поэзию труднее всего выразить в математических терминах. Поэтому, поэзия для человечества – занятие преждевременное и

потому вредное. Ведь нельзя одиннадцатилетнему мальчику заниматься любовью. Это для него безнаказанно не пройдет. Мы еще арифметики не знаем, а нам предлагают Петрарку и Гёте.

– То, что вы говорите, Петр Ильич, весьма остроумно, может быть, но я никак с вами не могу согласиться, по причинам отчасти неожиданным. Вы думаете, я буду доказывать, что искусство полезно и необходимо для всех возрастов человечества? Нет, я полагаю, что искусство – болезнь опасная, а иногда и смертельная. Но я не хочу «естественного» развития человечества. Я хочу бороться с глупой закономерностью мирового порядка – вот смысл художества. Бетховен, Винчи, Достоевский – это все великолепные безумцы, и они заразительны. Мир сойдет с ума, если все станут художниками, и это неестественный, но зато воистину достойный конец мира. А думать о конце мира надо, потому что идея конца – благородная и чистая идея, и всегда бескорыстная.

– Если бы я был законодатель, – сказал медленно Полянский, направляя свой упорный, стальной взгляд прямо в лицо Лунину, – я бы казнил всех художников, с вами согласен: художество – болезнь. И надо истреблять заразу и паразитов.

– Художника невозможно убить, – улыбнулся не без горечи Лунин, – художник всегда воскресает так или иначе. Умрет художник, и картины его могут испепелиться, но останется легенда о нем, и это, быть может, опаснее, чем самая картина. Пример – Леонардо да Винчи.

– Как странно, – сказала Анна Григорьевна, с тревогой и любовью смотря на Лунина, – как странно: вы только что познакомились, и вот разговор об искусстве, и такой разговор!

– А вы с кем из нас согласны? – спросил Лунин и тотчас пожалел о том, что спросил так.

– Я ничего не знаю. У меня мыслей об этом нет. Я слепая. И, должно быть, искусством я больна безнадежно. Я люблю его и гибну, быть может.

Все замолчали.

– Я люблю и гибну, быть может, – повторила Анна, грустно и тихо.

– А мне пора уходить отсюда, – сказал Полянский взглянув на часы.

– Значит, в четверг.

– Да, Анна.

– Позвольте и мне проститься, – сказал Лунин решительно.

Они сошли вдвоем со ступенек террасы во мрак сада.

– Сегодня луны нет, – пробормотал Лунин.

Полянский молча вынул из кармана электрический фонарь. Засиял мертвый свет, а по сторонам мрак стал чернее и ужаснее. Они отошли шагов сорок от террасы, не разговаривая.

Неожиданно Полянский рассмеялся.

– Прощайте! – сказал он. – Я раздумал ехать в город.

Он быстро зашагал домой, освещая себе путь фонарем.

Лунин остался один во мраке.

– Что делать? Что делать? – шептал он в ужасе.

С трудом добрал он до своей дачи, шатаясь как пьяный, едва угадывая узенькую дорожку.

Не снимая шляпы и не выпуская из рук палки, он ходил по террасе. На столе горела лампа.

– Что делать? Что делать? – шептал Лунин.

И вдруг ему показалось, что скрипнула калитка и кто-то идет по дорожке.

– Кто это? – громко спросил Лунин и уже знал кто, и уже шел навстречу.

Анна была бледна и дрожала. Лунин прижался губами к ее руке.

– Ты ему все сказала?

– Да.

# XI

Когда Бешметьев в коляске подъехал к даче Лунина, только что рассвело: был шестой час. Лунин стоял перед зеркалом и завязывал галстук. У него болели зубы, и мучительная боль мешала ему сосредоточиться и обдумать свое положение.

– Как вы себя чувствуете? – спросил граф, пожимая Лунину руку.

– Болят зубы, – сказал Лунин, с завистью взглянув на здорового Бешметьева, – ни о чем думать не могу.

– Вот еще история! Не отложить ли?

– Нет, что вы! Что вы, – испугался Лунин, – как можно...

Они сели в коляску. Ящик с пистолетами поставили в ногах. Утро было туманное.

– Вам удобно? – спросил граф таким тоном, каким говорят с тяжелобольными или с детьми.

– Да. Очень.

Коляска миновала просеку, и вокруг стало просторно, но туман кутал землю своей пеленой, и трудно было поверить, что за серо-лиловой завесой ничего не таится.

Ехали сначала мимо парового поля, с которого поднялась стая ворон, протяжно каркая. Солнечные лучи как будто растворились во влажном тумане. Было сыро.

Неожиданно из мглы серой выросла мельница. Крылья

двигались как живые и жалобно скрипели. Потом глухо зазвучал колокол, потом раздался жидкий звон маленьких колоколов: выдвинулась из тумана черная церковь, колокольня, погост с алеющими кое-где лампадками.

Коляска тихо спускалась с горы, и теперь туман похож был на молоко – густой и белый. Лошади фыркали.

Оттого что у Лунина мучительно болели зубы, чувство общего здоровья у него повысилось, как это всегда бывает, когда человек испытывает острую боль в одной точке тела. И от этого повышенного чувства здоровья и силы все казалось Лунину необыкновенно красивым, влекущим и милым. Смутные краски тумана и неопределенные контуры построек, возникавшие время от времени, волновали Лунина. И он думал о том, что прекраснее этого мира – пусть исполненного боли и скорби – ничего быть не может, и ему хотелось жить. И он твердо верил, что не умрет.

Граф крикнул кучеру:

– Направо!

Коляска свернула с дороги и, покачиваясь, ехала теперь напрямик, по кочковатому лугу Вдали виднелась синяя полоска – озеро.

Проехали так шагов двести, и тогда можно было рассмотреть черные силуэты около одинокой березы, сухой, сожженной когда-то грозой.

Полянский, Эксакустодиан и маленький, круглый человек с сонными глазками, незнакомый Лунину, очевидно – док-

тор, стояли около березы и курили. По-видимому, экипаж свой они отправили куда-то.

Граф поклонился и сказал:

– Прошу извинить. Мы, кажется, опоздали.

Полянский посмотрел на часы.

– Нет, граф, вы точны.

Бешметьев предложил Эксакустодиану осмотреть пистолеты. И тот взял их и неумело повертел в руках, очевидно, не зная, что с ними делать.

Солнце, закутанное до того времени в лохматые ткани облаков, теперь сбросило покровы и неожиданно расцвело на небе. Туман стал таять и уползал куда-то, расплываясь по земле.

– Итак, на пятнадцать шагов, – сказал граф, ни к кому не обращаясь.

Он отломил две сухие ветки и поставил барьер.

Когда Полянский и Лунин взяли пистолеты и разошлись, граф сказал сухо и холодно, как заученный урок:

– Господа! Вы доказали вашу готовность драться и тем поддержали ваше достоинство. Ссора, которая произошла между вами пять дней тому назад, может быть предана забвению, на мой взгляд. Господин Полянский, я считаю своим долгом предложить вам отказаться от вызова и примириться с господином Луниным.

– Я не хочу примирения, – сказал Полянский твердо.

– Дуэлянты дерутся до первой крови? – спросил Эксаку-

стодиан.

– Да. Условия не меняются, – пробормотал тихо Бешметьев и, возвысив голос, сказал: – Сходитесь, господа. Раз... Два... Три...

Первым выстрелил Полянский.

– А...О...А!.. – крикнул Лунин и уронил пистолет.

Полянский опустил руку и спокойно стоял у барьера. Лицо его не изменилось. Своими серыми пустыми глазами он смотрел на Лунина, побледневшего от боли, как будто не замечая его.

– За вами выстрел, если можете стрелять, – сказал граф Лунину.

– Хочу, хочу, – сказал Лунин, улыбаясь, и, неловко нагнувшись, взял пистолет. Он выстрелил, не подходя к барьеру...

Когда доктор, чтобы нащупать сердце, повернул Полянского на спину, глаза его, теперь неподвижные, были, как всегда, пусты; лицо было похоже на маску. И борода его показалась Лунину приклеенной.



## XII

В один из тех редких октябрьских дней в Петербурге, когда прозрачность воздуха неожиданно открывает перспективу длинных и прямых улиц, обычно закутанных в туман, из дома номер первый по улице Жуковского вышел господин с усталым лицом, с глазами до странности тревожными и со скорбною морщиною около бровей. Из-под мягкой шляпы выбивались седые пряди. Это был Борис Андреевич Лунин. Три года прошло с тех пор, когда около озера пустынинского убил он на дуэли инженера Полянского...

Лунин повернул по Литейному на Невский; шел, постукивая палкой, любуясь предвечерними красками, чувствуя как близкую торопливую петербургскую толпу... И от строгой прелести северного города и этой изнемогающей осени голова художника кружилась сладостно.

Осень воистину была прекрасна; она веяла над старым гранитом, над великолепием темных камней, веяла своим нежным опахалом. Петербургский вечер окутывал замороженной сетью дома, церкви, лица прохожих... Сверкали электрические огни, кинематографы, витрины, вывески; голубые зарницы трамваев загорались на миг — и вновь, и вновь...

И вечерний запах морского ветра, тонкий, едва уловимый, раздражал чуткие ноздри, дразнил, волновал и звал куда-то

в иные страны, где простор и фиолетовое небо...

Лунин ходил неустанно по улицам, переулкам, площадям, не думая о пути, пока не очутился около здания театра.

Подъезжали экипажи вереницей, и усатый пристав грозно кричал на извозчиков:

– Пошел! Не задерживай! Пошел!

Лунин вмешался в толпу и вошел в театр.

Контролерша-барышня поклонилась ему почтительно. В белом с колоннами зрительном зале сдержанно шумела публика первых представлений.

– Я не люблю Ибсена за его нарочитую серьезность и, по правде сказать, дурной вкус, – говорил известный художник с подстриженными усами и с женственными губами, капризно очерченными.

Какой-то молодой человек, с красным маком в петлице, почтительно его слушал, счастливый, что говорит с самим Ломовым.

Прошла высокая дама в черном. И за ней следовал, никого, по-видимому, не замечая вокруг, молодой человек, бледный, безбородый, с бескровными губами, с глазами мертвенно-серыми.

Кто-то сказал соседу:

– Это Герт, поэт.

Несколько человек обернулось, чтобы посмотреть на Герта.

– Мечтай, люби и улыбайся, мой друг, и не надо, не надо

резонерствовать, – говорил неизвестной Нузматов, с огромными круглыми глазами, подведенными, темно блистающими...

И грустная умная улыбка накрашенных губ не вязалась с оптимизмом его заповеди.

Русоволосый студент с круглым ребяческим лицом смущался и краснел. Ему что-то нашептывал господин небольшого роста, с холеными усами, улыбаясь не то нежно, не то насмешливо.

– Нет... Нет... Я не могу, Петроний...<sup>[10]</sup>

Тот, кого студент назвал Петронием, засмеялся и продекламировал:

«Любви утехи длятся миг единый...»<sup>[11]</sup>

Кто-то в толпе сказал:

– Смотри направо... Это – Лунин...

– Тот самый?

– Да.

– Но какова Томилина! В один год завоевать театр, публику... Это не часто случается...

– Талант, братец.

Раздвинулся занавес.

Вот – Анна. Опять близкая и чужая, с новым и непонятым лицом. Вот она, в траурном платье, подходит к окну и смотрит в какую-то даль, чуждую для него, Лунина, но ее

влекущую.

«Он и вчера там прошел. Но вот посмотрим теперь...»

Потом входит какой-то высокомерный господин и указывает на цветы.

«Везде цветы...»

«Он ужасно любит свежие, живые цветы вокруг себя».

«И вы, по-видимому, также?»

«Да. По-моему, они так сладко одурманивают своим ароматом. Прежде нам приходилось отказывать себе в этом удовольствии».

Тогда высокомерный и строгий господин качает головой:

«Бедная покойница не выносила запаха цветов».

Лунин плохо понимал, о чем говорят там, за рампой, но он чувствовал, что Анна живет сейчас какой-то настоящей жизнью, недоступною для него, и страдал от этого.

Голос Анны чаровал Лунина.

«Боюсь, что привидения эти...»

Лунин вздрогнул.

– Что? Что такое?

И опять звучит в сердце голос:

«Боюсь, что привидения эти...»

Занавес сдвинулся.

В антракте Лунин с трудом узнавал тех, кто подходил к нему здороваться, и рассеянно слушал любезные слова о таланте Анны Григорьевны. И к волнению, которое он испытывал от игры Анны, примешивалось еще странное беспо-

койство. Ему казалось, что кто-то упорно смотрит на него сейчас, кого он не видит.

Начался второй акт.

Неизвестный господин, с чужими и страшными глазами, стоит рядом с Анной и говорит:

«Ведь радость облагораживает душу».

И снова, волнуя, звучит голос Анны:

«А ты не думаешь, что и горе тоже? Великое горе?»

«Да... Если человек сможет пережить его. Превозмочь его. Перешагнуть через него».

«Вот это и надо сделать».

Кому говорит это Анна? Не ему ли?

И Лунину казалось, что глаза их встретились.

Во втором антракте к Лунину подошел господин лет тридцати, с низким лбом, с черными на нем кудрями, с глазами мечтательными и злыми. Он улыбался, обнажая зубы, неестественно белые.

– Вы не узнаете меня?

– Простите, не узнаю, – сказал Лунин.

– Граф Бешметьев.

– Ах, Боже мой!

– Моя жена хотела бы возобновить с вами знакомство, Она сейчас здесь, в ложе. Вы ведь помните ее девушкой – княжна Ховрина...

– Как вы изменились! – невольно вырвалось у Лунина, когда он вошел в ложу Бешметьевых.

– А мне кажется, я мало изменилась, – сказала графиня, протягивая маленькую нежную руку с тонкими пальцами.

– Значит, раньше я не умел вас видеть.

– Я показалась вам тогда такой незначительной, – улыбнулась графиня, – вы даже отказались писать мой портрет.

– Не совсем так, – сказал серьезно Лунин, – я хотел отложить – писать осенью. А осенью не пришлось: я должен был уехать за границу.

– А если бы я теперь попросила вас написать меня? Вы согласились бы?

Лунин посмотрел на ее надменную голову, на серые, гордые и жестокие глаза, на нежно-алые чувственные губы и сказал, как бы раздумывая:

– Да. Я буду писать вас... Да. Я буду писать вас...

В третий раз раздвинулся занавес.

Кто-то говорит шепотом:

– Никогда не восторжествовать тому делу, начало которому положено в грехе.

И Анна отвечает:

«Ах, эта родовая мнительность... У вас тут ходит поверье, что мертвецы возвращаются на землю...»

Странные и жуткие слова волновали Лунина. И что-то еще по-иному волновало его. Он остался в ложе Бешметьевых, и запах духов Любви Николаевны, освещенная наполовину ее розовая шея и вьющиеся волосы на затылке – все мешало Лунину сосредоточиться.

После третьего акта Лунин пошел за кулисы. Около уборной Анны стояла новая горничная, которая не знала Лунина, и когда он хотел отворить дверь, она взялась за ручку и сказала строго:

– Нельзя-с так... Как прикажете доложить?

В это время из уборной вышел прославленный беллетрист Ардальон Сергеев. Пахло от него коньяком...

Он фамильярно пожал руку Лунину и для чего-то пробормотал с пьяной улыбкой:

– Таланты и поклонники... А? Что?

В уборной Лунин застал целое общество. Здесь торчал высокий господин с бритой физиономией – рецензент большой газеты; меценат Туберозов жиденьким голосом пел хвалы Анне; умирали от конфуза два по уши влюбленных в Анну студента... В уборной от множества цветов было душно, как в теплице. Анна сидела перед зеркальным триптихом загримированная и потому чужая для Лунина: теперь лицо ее казалось страшным и особенно значительным, как будто бы она не надела, а совлекла личину, ту обыденную личину, которая наскучила ей наконец. И как ужасно, как очаровательно было теперь это сумасшедшее лицо. Увидев Лунина в зеркало, Анна кивнула ему головой и протянула руку для поцелуя.

Узнав художника, меценат перестал петь свои хвалы, и все как будто ждали, что Лунин что-нибудь скажет, и смотрели на него.

Тогда Лунин сказал:

– У тебя хорошо, Анна, прозвучало в третьем акте... Как это? «Мертвецы возвращаются...» Да... «Мертвецы возвращаются...»

И Анна повторила: «У вас тут ходит поверье, что мертвецы возвращаются на землю».

Постучали в дверь, и вошел режиссер.

– Начинаем! Начинаем! Пожалуйста, господа...

И вот опять ходит по сцене, как слепой, человек в черном, обреченный на гибель, и Анна разделяет с ним его странную судьбу.

О чем говорят они? О смерти? Они уходят в парк? Зачем это? Там водопад?

Как странно все, как странно...

«Покойница взяла их...»



## XIII

Когда Лунин вошел в комнату Анны, она уже лежала раздетая в постели с томиком Бальзака в руках.

Лунин уже три недели не оставался с Анной наедине. Каждый вечер то Анна, то сам он возвращались домой поздно, утомленные, и, торопливо обменявшись незначительными фразами, уходили каждый в свою комнату.

И теперь, когда Лунин вошел в спальню Анны, на ее лице появилось беспокойство, как будто бы она боялась, что помешают ее уединению.

Лунин сел в кресло около постели и сказал нерешительно:

– Можно поговорить с тобою, Анна?

– Можно, милый...

– Видишь ли, со мной, Анна творится что-то неладное, и вот мне хочется рассказать тебе... А зачем, не знаю, право...

– Да, да... Расскажи непременно! – прошептала Анна, выронив из рук французский томик, который мягко упал на ковер.

Анна с боязливым любопытством смотрела на Лунина, и он смущался, не зная, как начать.

– Мне так трудно, так трудно, – сказал Лунин. – Ты, может быть, заметила, Анна, что я мало работаю теперь и наши отношения с тобою как будто не те, что раньше... Или нет? Или я ошибаюсь?

Анна с тоской посмотрела на Лунина:

– Не знаю, не знаю...

– Ты не знаешь? Припомни историю нашу, Анна... Я встретил тебя в Петербурге, когда муж твой был на Алдане. Я влюблен был тогда. По правде сказать, у меня слепая тогда была страсть. Может быть, это единственное настоящее, что дано людям узнать на земле...

– О нет! Нет, – сказала Анна. – Страсть – убийственна, губительна... Неужели недостойны мы иного?

– Вот я об этом и думаю, Анна. Мы были влюблены... Что случилось потом? Я убил твоего мужа... Странно. Я не мучаюсь тем, что убил человека. Я помню лицо его. Пустые глаза и как будто приклеенная борода... Совесть, Анна, не мучит меня, но что-то иное меня тревожит... Но что? Что? Я сам этого не знаю...

Анна побледнела. Она лежала с закрытыми глазами и чутко прислушивалась.

– Я себя потерял, Анна, мне жить страшно. Понимаешь? Как-то мир дробится вокруг меня. Вот эти краски мне приятны, вот эти нет... Вот эта мелодия созвучна сердцу, вот эта нет... Но почему это? Почему? Прости меня. Анна, я говорю несладко и несвязно, но для меня во всем этом есть связь. Я хочу сказать, что я не умею любить и, значит, жить не умею...

– Ты не любишь меня?

– Люблю, люблю, но не так, как надо. Я не знаю, как надо,

но любовь моя – недостойная, несовершенная любовь...

– Я, кажется, понимаю тебя, Борис. И я люблю недостойно. Что значит любить? Значит, увидеть человека лицом к лицу, а мы видим душу того, кого любим, как в зеркале, как в гадании... Я люблю тебя, Борис, но я не знаю тебя... Боже мой! Как страшно это! Как страшно...

– Я так ценю тебя, Анна. Ты прекрасна. Но ты сама по себе, а я один, один...

– О, как мы одиноки!

– Да. Мы любим слепо... И вообще нет ничего прочного в нашей жизни... Все проходит, все течет в причудливой смене звуков, красок, мыслей... Сегодня меня волнует запах моря, завтра я влюблен в облако, которое загорелось странным огнем на вечерней заре, но все это как сладостный бред, а иногда мучительный бред.

– Да, ты правду говоришь. Да, Борис, и я чувствую, что все – туман, туман. И я не знаю, где мое я. Я вот играла сегодня Ребекку<sup>[12]</sup>, и я верила, что это жизнь, то есть почти верила. Понимаешь? Все смешалось. Я иногда в комнате одна стою перед зеркалом и говорю: «Анна Томилина, Анна Томилина». И это так странно звучит, Борис.

– Я не знаю, что делать, Анна... Я вспоминаю иногда Михневича и завидую ему. Этот человек умеет быть простым и наивным. Все у него выходит складно – и огород, и супружество его, и социализм как требование чистоплотности... А мы сумасшедшие с тобою, Анна...

Анна вздрогнула и приподнялась на постели.

– Я, Борис, получила сегодня письмо от отца и до сих пор не распечатала... Все боюсь чего-то, все мне кажется, что он о чем-нибудь неприятном пишет. Но надо прочесть... Конверт на столике. Дай мне его...

Когда Анна прочла письмо, у нее задрожали губы и она с ужасом посмотрела на Лунина.

– Несчастье, – прошептала она, – несчастье какое! Экскурсиан заболел душевно. Его вчера отвезли в психиатрическую клинику.

## XIV

На следующую ночь Лунин опять пришел к Анне и опять сел в кресло около ее постели.

Он взял ее за руку и сказал:

– Анна! Брось сцену!

Анна со страхом посмотрела на Лунина:

– Что ты! Что ты! Как можно! Лунин опять сказал:

– Анна! Брось сцену.

– Но почему, милый? Почему?

– И без театра жить страшно, Анна... А когда ты на сцене, я теряю голову: кто-то отнимает тебя у меня... Демон какой-то. Я этого не хочу, Анна.

– Нет, Борис, не надо так говорить. Я не могу бросить сцену.

– Почему не можешь?

– Потому же, почему ты не можешь бросить живописи. Так суждено. Ты – художник; я – актриса.

– Но ты пойми, Анна: человек выше искусства. Ведь мы гибнем, гибнем, Анна... Надо всем пожертвовать и спасти себя.

– Однако ты не бросишь живописи? Ведь нет?

Лунин молчал.

– Вот видишь, ты молчишь. А ты требуешь, чтобы я бросила театр. Я не могу.

– Я требую этого, Анна.

– Оставь меня! – крикнула Анна. – Оставь.

– Да, мы безнадежно одиноки, – прошептал Лунин. – Прощай, Анна.

– Постой, – сказала она, – постой... Куда ты?

Анна приподнялась на постели и схватила маленькой рукой его рукав:

– Не уходи, Борис.

Лунин подумал, что надо уйти сейчас, и хотел уйти, но где-то в глубине сердца как будто прошла темная тень, и он остался, и стал на колени, и вдруг почувствовал знакомый запах тела. Горячие пальцы Анны прижались к его губам, и Лунин, уже слепой и безвольный, ни о чем не думал.

Утром Лунин почувствовал, что душа его опустошена, и не мог работать. Все вокруг казалось простым, плоским, скучным... Лунин ненавидел такие дни и боялся их. В эти дни пил вино он. И на этот раз в час завтрака, когда Анна ожидала его в столовой, он вышел из дому и направился в кафе.

Кафе, как всегда, было наполнено сутенерами, биржевыми зайцами, ворами, сыщиками, загулявшими приказчиками и немцами-конторщиками. Под низкими сводами этого каменного коридора носились сизые клубы дыма. Пахло кофе, сигарами, духами, пудрой и чем-то острым и пряным. От дыма, от хриплых криков, от пестрых туалетов и, главное, от близости этих доступных женщин пьянела голова и все ка-

залось фантастическим.

Проститутки, старые и молодые, веселые и грустные, представительницы всех стран, сидели за столиками, как стая пестрых птиц, слетевшихся на петербургские камни в какой-то смутной надежде: иные – на большую добычу, иные – на нищенские крохи.

Одни из них сидели в непринужденных позах, заложив ногу за ногу, приподняв юбки, множество разноцветных юбок, из-под которых торчали ноги в черных чулках и желтых ботинках с высокими каблуками; эти женщины курили папиросы и болтали на международном языке кокоток, на этом циничном и насмешливом языке; их грим был преувеличенно ярок и жесты преувеличенно развязны. Другие, в огромных шляпах со страусовыми перьями, в черных платьях в белых перчатках, казались закутанными в траур. Наконец, были здесь и совсем молоденькие девушки, недавно выброшенные на улицу, в наивных платьях, похожие на горничных, с большими деревенскими руками.

Здесь был рынок, где посредники в красных галстуках, с перстнями на пальцах, вербовали женщин, подходящих для публичных домов; здесь содержательницы хоров, сводни в черных мантильях, поставщицы детей с лицами богомолков – все имели свой кусок и копошились, как черви на падали. Тут же подозрительные безусые молодые люди, в мягких шляпах, с цветами в петлицах, манерничали, как женщины.

Лунин спросил себе виски. И скоро затуманилась голова

художника. Нравилось Лунину сидеть так в кафе среди гнусного сброда и этих сумасшедших женщин; ему нравилось, что вот грязный ужас нелицемерно поет здесь свою уличную песню поруганной любви...

Уже больная пьяная улыбка змеилась на губах Лунина, когда он вышел на тротуар Невского. Он знал, что лишь утром вернется домой, что началась его темная болезнь, и он жадно вдыхал ядовитый петербургский воздух, как эфироман вдыхает окрыляющий сердце эфир.

Петербургское октябрьское небо! Как понимал, как чувствовал Лунин эти бледные краски, этот серо-серебристый тон облачных тканей, это больное, увядающее солнце. Лунин прошел Невский, Морскую, зашел в Исаакиевский собор и там, прижавшись к огромной колонне, насладился торжественным сумраком. Потом он пошел к фальконетовскому Петру и стоял как замороженный, смотрел упорно на «кумир с простертою рукою»<sup>[13]</sup>, потом он очутился на Васильевском острове, зашел там в маленький немецкий ресторан и опять спросил виски...

Уже не мысли, а что-то иное волновало Лунина: какие-то мечтания, похожие на правду более, чем сама правда обычных дней. Взгляд случайный, встретившийся с его взглядом, жег ему сердце, как яркий факел. И кто-то пел там, за фиолетовым туманом, в который погружался вечерний город. Тонкий высокий голос, нежный, как флейта, а иногда похожий на скрипку, пел там песню странную, но как будто знакомую.



Лунин уже не знал, где он сейчас, и шел неустанно, не замечая пути. Казалось ему, что вот сейчас откроется то, что так нужно, так желанно, так близко, но голос нежный только дразнил и звал куда-то. И напрасно ждал Лунин, что вот увидит он чье-то лицо – и тогда умрет...

Лунин очутился перед освещенным подъездом и прочел сверкающую электричеством вывеску – «Аполло». Болезненная улыбка, бессмысленная и порочная, кривила его губы, и Лунин сам испугался своего лица, увидев его в большом зеркале.

Лунин шел неуверенно по фойе, и ему казалось, что вокруг – фантомы, а не живые люди, и что вот они подойдут сейчас, окружат его, приблизят к его лицу свои ужасные маски и раздавят его своими жесткими деревянными туловищами.

На эстраде плясала француженка. Лунин видел огромный красный рот, зеленые пятна под глазами, золотую волну юбок и бесстыдное движение ноги, обтянутой в черное трико...

Лунин тяжело опустился на стул, и лакей поставил перед ним бутылку клико<sup>[14]</sup>.

Неожиданно прозвучал знакомый голос:  
– И вы здесь! И вы!

Как новая маска возникло лицо перед Луниным: бледный лоб с черными на нем кудрями и глаза, полные страсти мрачной.

– Ах, это вы, граф. Вы один? Ну, что же. Будем вместе пить. Будем пить, граф.

– А ведь у нас с вами был однажды разговор, – сказал Бешметьев. – Помните? Это было три года назад... Мы с вами говорили, что многие живут теперь фантастически, что силы тайные влияют на события.

– Помню.

– Не правда ли, теперь, после революции, хуже стало?

Лунин молчал.

– Я не про политику говорю, – продолжал граф задумчиво, – я в политике весьма наивен; я про наши души говорю. Года три тому назад у нас мечта какая-то была. И вот, казалось, воплотится она. Идешь, бывало, по вечерней улице и как будто шорох слышишь волнующий и поступь такую гордую и прекрасную. Чью? Бог знает. А помните, с каким глупым лицом я следовал повсюду за княжной Ховриной, ныне женой моей? Кстати – ей очень хочется, чтобы вы написали ее портрет. Вы согласны? Нет? Я был бы очень рад, если бы вы написали ее портрет. Чтобы понять ее лицо, надо отца ее разгадать. Вы видели князя?

– Раза два видел.

– Не правда ли, любопытное лицо?

– Да. В нем какая-то усталость мудрая.

– Вот именно: как будто бы не одну жизнь пережил он. Вы знаете, князь – астроном по специальности и даже какие-то открытия сделал; но если с ним поговорить как следует, то

наука его во что-то другое превращается – в магию, так сказать. Говорит он точно и трезво и даже с улыбкой материалом себя называет, но при этом как будто бы есть у него тайная мысль. Я боюсь этого колдуна, ей-Богу.

Граф засмеялся.

– Вы начали, граф, о фантастичности, о мечте, – сказал Лунин, – я бы хотел послушать. Я не совсем понимаю.

– Как странно! А я думал, что именно вы поймете меня. Я сужу по вашим картинам. Вот у вас есть «Дама в черном». У нее глаза тревожные. Она такой же крови, что и я. Вы должны понимать.

– Если в этом смысле, то понимаю, пожалуй. Только я думал, граф, что вы можете сообщить что-нибудь реальное на эту тему.

– Откуда у вас надежда такая?

– Я вам скажу откуда. Я по лицу вашему вижу. Вот вы расстроены событиями, что-то предчувствуете вы – человек ожидающий, ищущий... Все это мне близко, но вы еще обладаете тем, чем я не обладаю. У вас цельность есть и страсть в сердце. А я как художник не умею всего себя отдавать: силы берегу на мастерство.

– Да, вы скупы и холодны, пожалуй, – согласился Бешметьев, – но, может быть, это оттого, что вы стыдливы очень, несмотря на всю вашу суровость...

– И брезглив.

– Да... Да... И брезгливы, конечно.

– Вы знаете, мне кажется, что скоро убивать себя будут многие... – неожиданно сказал Лунин.

– Я вот хожу по улицам и думаю: это – все самоубийцы бродят... И у всех такие пустые глаза.

Лунин вздрогнул.

– Да, граф, нет ничего страшнее пустых глаз, и вот еще когда кажется, что борода приклеена.

– И я много боюсь. Женщины боюсь особенно. Когда она говорит: «да, милый», «нет, милый», а сама думает о чем-то своем.

– Но я скептик, граф, – сказал серьезно Лунин, – мне иногда неудержимо хочется весь свой опыт отвергнуть, назло самому себе... Иногда мне хочется сказать: «Страшно? Ну и прекрасно... Это нечто иное, как романтический испуг, болезнь психическая, отмеченная и в истории литературы, между прочим». Так цинично мне хочется иногда сказать.

– Ах, Боже мой! Я это очень понимаю. Вот новая любовь, новая любовь... Все так таинственно в наших сердцах, и какие-то противоречия безумные как будто разрешаются. Но придет историк и бесстрастно скажет: «Распушенность нравов во время революции». И, может быть, педант будет прав. То есть, с одной стороны, разумеется. Определенность научная всегда однобока, несмотря на всю свою святую правоту...

В это время к столику подошла высокая женщина с бледным овальным лицом и злыми красивыми глазами. Граф

взял ее за руку и посадил рядом.

– Рекомендую... Клара... Прекрасная Клара... Я влюблен в нее...

Клара повела глазами, которые казались пушистыми, когда она их прищуривала, и сказала лениво:

– Глупости какие. Влюблен. До утра влюблен, милый, а утром к жене поедешь.

– Не говори о жене! – сказал Бешметьев, и яркая краска выступила у него на щеках.

– Вот все вы такие: «Влюблен... Влюблен», – а о жене не смей и говорить...

Клара засмеялась и с презрением посмотрела на Бешметьева.

– Влюблен я, – сказал упрямо граф, – сама знаешь, третью ночь в вертепе вашем...

– Ну, прощай, милый... Меня вон офицеры ждут.

Но граф, разговаривая с Луниным, все время подливал шампанское и теперь, совсем охмелевший, не хотел отпустить Клару.

– В «Пятьдесят девять» поедем, – бормотал он, целуя у локтя руку Клары, – а потом на Острова...

Лунин расплатился и, не прощаясь, вышел из «Аполло».

## XV

Лунин не знал, когда и при каких обстоятельствах возобновила Анна знакомство с Любовью Николаевной, но уже не раз он заставлял их вместе в маленькой гостиной. Прощаясь, они целовались нежно, и, по-видимому, у них были какие-то общие интересы, о которых ничего не знал Лунин.

Иногда Анна говорила ему:

– Сегодня из театра я поеду к графине. Не жди меня.

Лунин так был занят собою и большими мечтами своими, что дружба Анны с графиней не очень его интересовала.

С Анной редко оставался Лунин наедине, и отношения их потускнели.

В конце февраля Анна объявила Лунину, что едет в Москву и надолго, может быть, на целый месяц: опасно заболел отец.

Когда Лунин и Анна стояли на перроне вокзала и ожидали второго звонка, оба чувствовали, что надо сказать что-то, произнести какое-то слово значительное, но сердца их были холодны и пусты. И слова нужного не сумели они произнести...

– Ты не забывай меня, смотри, – сказала Анна с такою же улыбкой и с тем же выражением глаз, какие волновали Лунина год назад, но теперь ему казалось, что и улыбка, и взгляд Анны – только хорошее подражание той прежней улыбке и

прежнему взгляду.

Лунин, не отвечая Анне на ее полувопрос и тоже улыбаясь, сказал:

– Я тот же преданный, я раб твоей любви...

Анна коснулась губами темных роз, которые нежно и пьяно пахли, увядая.

– Да, – сказала она, – а я тебя забыла спросить: когда же ты будешь писать портрет графини? Она так умоляла... Пожалуйста, милый, не отказывайся на этот раз. Она тебе на днях письмо пришлет.

– Да, да... Я буду писать портрет графини, – сказал Лунин, припоминая ее лицо, – я охотно напишу ее портрет.

Раздался звонок, и Анна прижала свою руку к губам Лунина.

Лунин стал бывать у Бешметьевых. Ему нравился старый бешметьевский дом на Мойке, около Певческого моста. И обстановка дома казалась ему приятной, и самый быт бешметьевский, сохранивший личину благообразия, нравился ему, быть может, потому особенно, что не было у него, Лунина, связи с его прошлым, что давно он жил, как бродяга, оторвавшийся от земли...

И то, что Бешметьев был последним в роде, уже утомленным потомком когда-то не знавших усталости графов, волновало воображение Лунина.

Впрочем, самого Бешметьева он редко заставал дома. А с Любовью Николаевной он провел несколько долгих вечеров,

прежде чем решился приступить к ее портрету. И в эти вечера, когда вглядывался Лунин в лицо ее, неотступно возникало перед ним другое лицо – низкий упрямый лоб с черными на нем кудрями, глаза с темным блеском и страстные губы, шепчущие имя Клары... Лунин хотел разгадать тайну семьи Бешметьевых и не мог ее разгадать. Но непонятные глаза графини, ее губы, алчно-чувственные и злые, великолепные светлые волосы с золотистым оттенком и гибкая линия шеи радовали художника... И ничего не рассудив, но что-то разгадав бессознательно, Лунин решился наконец писать портрет.

Однажды во время сеанса Любовь Николаевна сказала Лунину:

– Вы знаете, я жду портрета с волнением и со страхом... И это для меня испытание, право... Сказать вам, чего я боюсь?

– Скажите.

– Я боюсь, что вы меня сделаете слепой.

– Как слепой?

– Ну, да... Слепой. Понимаете? Душевн о слепой...

Лунин смущенно улыбнулся.

– Я, по правде сказать, не люблю объяснять мои портреты. Я сам не знаю, как напишу. Но меня интересует это... Вы боитесь слепоты душевной? Вы?

– Да, я. Почему вы удивляетесь?

– У вас взгляд самоуверенный. Вот почему.

– Ах, это так. Привычка и гордость моя. А вам я не стану



лгать. Я слепая, слепая... Я как в лабиринте живу. Меня пожалеть надо. Заблудилась я.

– И вы! – пробормотал Лунин. – И вы! Боже мой...

– Мы, женщины, живем любовью. Не правда ли? Но что значит любовь? Татьяна пушкинская умела любить. А мы все безнадежно холодны и жестоки. Когда мы любим, мы убиваем, губим... И нас убивают.

– Как странно, – сказал Лунин, – кажется, что вот наступил час признаний... Все признаются в том, о чем до сих пор молчали. Или уже невозможно молчать? Что это? Или, быть может, мы в самом деле вырождающиеся, отпавшие от настоящей жизни? Но где она – настоящая жизнь? А я? Что ж, я готов признаться в самом дурном и стыдном. Я все забываю. Вы понимаете? Я могу влюбиться, убить – и все забуду чистосердечно. Может быть, я поступка не забуду, но себя того времени забуду, то есть ч т о я тогда чувствовал, к а к я тогда переживал. А забыть себя – это значит свое «я» потерять. Ведь это ужасно... Ведь это гибель...

– Да, гибель, – повторила тихо Любовь Николаевна.

В это время вошел князь Николай Николаевич и, здороваясь, сказал:

– О какой гибели ты говоришь, Люба?

– Вот об утомленных людях вообще... О слабости нашей...

– Да, да, – сказал князь, – если посмотреть на вас, господа, со стороны, можно подумать, что вы в самом деле послед-

ние, что вы обреченные какие-то... Слава Богу, что кроме вас есть иная молодежь... Слава Богу...

– А вы как думаете, князь, – спросил Лунин, – откуда слабость наша? И почему лет пять тому назад мы не унывали еще, а вот теперь разучились жить, любить и даже картины пишем вяло и все по-старому, как прежде выучились?

– Я думаю, – сказал князь серьезно, – что причин много было, но одна, быть может, особенно повлияла на судьбу вашу. Это – революция, друзья мои. Она совсем прошла мимо вас, и поэтому вы устали больше, чем другие. Кто больше устанет: тот, кто плывет по течению, или тот, кто пытается удержаться на месте? Вы ничего не делали – и за это история растоптала вас.

– Мы для тебя, папа, статистические материалы, – засмеялась графиня, – а вот нам жить хочется, жить хочется.

– И то хорошо! – засмеялся князь. – А вот я все в газетах читаю о самоубийцах. «Жить не хочется», – в записках пишут. Что же это?

– Это все наши братья-декаденты, – сказал Лунин, – только мы на эту тему картины и стихи сочиняем, а у них нет стихов, нет картин, они честнее нас, откровеннее... Я это понимаю, но вот чего я не понимаю, так это вас, князь. Откуда у вас бодрость такая? Как это так легко вы мир принимаете?

– Потому что я наивный реалист, – улыбнулся князь, – у меня с миром, признаюсь вам, отношения очень близкие: нам друг без друга никак не обойтись. Приходится взаимно

извинять слабости и пороки... Вот у меня склероз, и сейчас голова кружится, и мир отчасти виноват в этом, но я великодушен и не слишком жалуясь на мою судьбу. Прощай, Люба, однако...

Когда князь ушел, Любовь Николаевна с грустью сказала.

– Отец дурно выглядит сегодня. А мне он так нужен теперь, так нужен...

Потом, когда Лунин собрался уходить, она удержала его.

– Покажите, наконец, портрет мой! – сказала она с вкрадчивой нежностью.

– Смотрите, пожалуй, – сказал Лунин.

Портрет был написан в розовато-белых и золотисто-рыжих тонах. Глаза и губы были влажны, как у тициановской Магдалины<sup>[15]</sup>. И на лице была печать как бы утомившейся страсти...

– Я бываю такой, – прошептала смущенно графиня, – но как вы угадали это? При вас я никогда такой не была... Но вы жестоки, Борис Андреевич: ведь здесь я куртизанка какая-то.

– Разве? – сказал Лунин, ничуть не смутившись. – Я бы не сказал так... И вообще я ничего не хотел...

– А вы сегодня вечером свободны? – неожиданно спросила Любовь Николаевна. – Если свободны, приходите к нам. Графа, впрочем, дома не будет... Мне так хотелось бы поговорить с вами о разных вещах.

– Я приду, – сказал Лунин, всматриваясь в светлые пре-

ступные глаза графини.

## XVI

Когда Лунин вошел вечером в гостиную Бешметьевых, Любовь Николаевна сидела за роялем и играла шопеновский «Marche Funebre»<sup>2</sup>.

– Это так, – сказала она, протягивая обе руки Лунину, – я больше не буду... Я не хочу меланхолии. Мы слишком часто грустим с вами, художник. Зачем? Нет, право, я молода еще.

Она подошла к зеркалу и сказала:

– И это во мне есть...

– Что это?

– То, что вы написали... Портрет ваш... А ведь живу я как монахиня. Вы знаете?

– Я так и думал...

– Вот как. Почему же вы думали? Ах да. Я понимаю. Граф говорил мне, что вы встретили его в кафешантане... А что эта Клара? Она в самом деле красива? Какие глаза у нее? Она брюнетка?

– Я не знаю, про кого вы говорите... Я не помню...

– Вы, может быть, думаете, что граф скрывает от меня свои увлечения? – Она засмеялась. – Нет, Борис Андреевич, граф – откровенный и благородный человек...

Любовь Николаевна была взволнована, возбуждена и те-

---

<sup>2</sup> Похоронный марш (фр.).

перь еще более походила на портрет, написанный Луниным. Казалось, что на глазах у нее слезы и что она смеется, чтобы утаить их. И рот ее был похож на цветок алый, томно распустившийся, благоуханный и жаждущий влаги...

– Я не хочу умных слов, даже мыслей умных не хочу, – сказала графиня, – мне хочется говорить и делать глупости сегодня... Эта злая и праведная жизнь убивает меня... Я не могу больше, не могу. Я не хочу быть такой строгой, как ваша жена. Она прекрасна, я влюблена в нее, но она не умеет щадить никого, никого... Только вас. Почему она только вам все прощает?

– Я не знаю, я не совсем понимаю вас...

Тогда она дерзко и вызывающе засмеялась в глаза Лунину.

– Хотите быть сегодня милым и делать глупости вместе со мной?

– Но ведь я стар и скучен.

– Неправда. Вы просто боитесь меня?

– Может быть, и боюсь.

Глаза графини засияли лукаво и нежно.

– Художник! Поедемте кутить... Повезите меня куда-нибудь в невозможный притон или в клуб какой-нибудь подозрительный.

Любовь Николаевна взяла газету.

– Вот, смотрите: объявления... Вот клуб на Владимирской... Маскарад в пятницу. Сегодня пятница. Очаровательно. Мы едем? Не правда ли?

– Но там грязно и скучно.

– Грязно... Может быть... Но скучно не будет, потому что я сама полна радости и веселья. Ха-ха-ха! Почему вы так мрачны? Вы думаете, что это пир во время чумы?.. Не надо так думать. Не надо. Я совсем простая. И вы будьте простым. Мы будем пить шампанское...

Любовь Николаевна послала прислугу за домино.

И там, в клубе, она продолжала смеяться, а когда она сняла маску, на глазах у нее были слезы.

Возбуждение Любови Николаевны влияло на Лунина. И грязная роскошь клубных зал, бессмысленные шутки грубоватых масок, холодное шампанское – все поддерживало в Луinine настроение странное и тревожное.

И слезы графини пугали его.

– Нет, вы не умеете веселиться, – смеялась Любовь Николаевна, – почему вы мрачны? Вы думаете о жене вашей? Она – прекрасна, прекрасна... Но зачем такие строгие глаза? Ведь все проходит, все проходит. Мы слабы. И пусть. Правду я говорю?

– Да. Все проходит, – улыбнулся Лунин, пьянея.

– А мой муж? Нравится он вам?

– Очень.

– Ну да, конечно. Я так и знала. Я влюблена в вашу жену, а вы – в моего мужа. И потому мы вместе, должно быть, в этом прелестном дворце.

Она опять истерически рассмеялась.

– А знаете, когда-то мой отец был против нашего брака. У нас были тайные свидания с мужем... И он простаивал на морозе по три часа, ожидая меня. А вы... вы... Ха-ха-ха! Вы могли бы на морозе... Так... Боже! Что я говорю! Простите меня. Он – рыцарь, мой муж. А эта Клара? Я хотела бы с ней познакомиться, право.

– Довольно! – сказал Лунин, отнимая шампанское у Любови Николаевны.

– Как хотите...

– Все проходит, – повторил Лунин рассеянно.

– Нет, не все проходит, – как-то особенно серьезно и значительно прошептала Любовь Николаевна. – Любовь не проходит. А вы? Вы могли бы влюбиться, Борис Андреевич?

Лунин посмотрел в пьяные и томные глаза Любови Николаевны, на ее нежные губы и неожиданно для себя сказал:

– Да.

Когда они вышли из клуба, мартовский влажный вечер обвеял их горячие лица. Любовь Николаевна теперь не смеялась.

– Я не хочу домой, – капризно сказала она, прижимаясь к плечу Лунина, – я хочу на Острова...

На Каменноостровском она торопила извозчика:

– Скорей! Скорей!

Неожиданно она запрокинула голову.

– Милый! Милый! Целуй!

Лунин покорно прижал свои холодные губы к ее тоже хо-



лодным губам.

– Мы мертвые, – прошептала в ужасе Любовь Николаевна. И вдруг она вскрикнула: – Что это? Что это?

Они проезжали мимо дома старого князя. Во втором этаже все окна были освещены ярко. Двигались черные тени.

– С отцом случилось что-то... – сказала Любовь Николаевна, судорожно сжимая руку Лунина. – Боже мой! Как страшно... Боже мой!

– Вы домой хотите? – с тревогой спросил Лунин.

– Домой? Нет, нет... Я боюсь. Боже мой! Я схожу с ума. – Она повернула заплаканное лицо к Лунину: – Я к вам хочу, Борис Андреевич.

– На Жуковскую! – крикнул Лунин извозчику, и ему не казалось странным, что Любовь Николаевна так неожиданно, ночью, решила ехать к нему и вот сейчас целовала его холодными губами.

Когда Лунин и Любовь Николаевна очутились вдвоем в лифте, она закрыла лицо руками и вздрогнула.

– Зачем это? Зачем?

– Рассуждать не надо, – сказал Лунин, – судьба такая. Все как сон. И мы кому-то пригрезились, должно быть, такими.

– Какие у вас холодные руки. Лунин отпер квартиру и без звонка, не разбудив прислуги, провел Любовь Николаевну к себе в мастерскую.

– Светает, – сказала графиня, – шесть часов.

Лунин отдернул штору на огромном окне, и открылся Пе-

тербург утренний: туманная, желтая даль Литейного проспекта, скучная сеть трамвайных, телеграфных и телефонных проволок; сине-зеленые пятна ночных гуляк, проституток, дворников...

Любовь Николаевна, в тоске ломая руки, отошла от окна. Она стояла посреди мастерской бледная теперь, с темными кругами под глазами, улыбаясь растерянно, как будто недоумевая, зачем она попала сюда.

– Ну, целуйте, целуйте руки мои... Мыслей не надо. Правда? Ведь мы влюблены? Влюблены?

Лунин молча стал на колени перед нею. Злые сладострастные огоньки загорелись в ее глазах.

– Вы во мне куртизанку увидели, – сказала она тихо, – может быть, вы правы... Я бы и натурщицей могла быть. Тело мое прекрасно...

Она села на диван.

Казалось, что холодный желтый туман вошел в мастерскую художника. Станный мертвый свет струился по стенам, тканям, картинам. Он оплетал душу паутиною, как огромный паук. И казалось, что никогда не развеется слепой туман, что город задохнется в этом трауре...

Неожиданно Любовь Николаевна вскрикнула:

– Страшно мне! Сейчас случилось что-то... Ах, не хочу я думать, не хочу...

Она протягивала руки к Лунину, но смотрела куда-то в сторону, как будто видела иного, кого Лунин не видел. Потом

она сказала печально:

– Разве так надо было? Ах, все равно... Пусть...

Она раскинулась на диване, как была, неодетая, и тотчас заснула.

Лунин сидел у окна и думал о том, что вот сейчас произошло то, что могло бы быть важным и значительным и что прошло, испепелилось, исчезло, как исчезает этот желтый неживой туман.

Лунин не верил, что он обнимал и целовал графиню. Не верил, что он, Лунин, как убийца, холодно и бесстыдно обладал телом этой несчастной утомленной женщины, которая возбуждала в нем теперь только жалость.

Уже развеялся туман; оживал город; шумела улица; под солнцем огнем черным светился гранит...

Графиня спала: распустились ее рыжие волосы; не слышно было, как дышит она. Казалось, что она лежит в глубоком обмороке.

Лунин очнулся, когда услышал звонок, когда кто-то прошел по коридору торопливо.

Дверь распахнулась, и в мастерскую вошла Анна.

Увидев спящую графиню, она слабо вскрикнула и закрыла лицо руками.

Потом они сидели рядом на диване – одна в черном траурном платье и шляпе; другая почти нагая...

Графиня целовала руки Анны, бессвязно умоляя ее о чем-то.

– Это ужасно, это страшно – то, что случилось, но в сущности не было ничего. Это так, так... Это кошмар, сон... О, я недостойная! Недостойная! Прости... Прости...

Анна, бледная, с глазами, полными ужаса, гладила нежно рыжие волосы графини и говорила тихо:

– Я... Я виновата во всем... Так должно было случиться... Мы все такие холодные, такие утомленные... Боже! Но что же делать? Что делать?

## XVII

В ту ночь, когда графиня была в мастерской Лунина, умер от удара князь Ховрин.

В начале апреля Бешметьевы уехали в свое подмосковное имение. Анна была приглашена на гастроли в Киев. Лунин жил в Петербурге и почти не выходил из мастерской: писал большую картину – «Марию Египетскую в пустыне»<sup>[16]</sup>.

В страстную субботу, вечером, когда уже электричество горело на улицах, вышел Лунин из дому и вдруг почувствовал, что апрель опять зовет его куда-то... Но куда?

Все прошлое казалось ему ненастоящим, случайным, и хотелось верить, что вот откроются иные миры, но сердце было как в плену.

Лунин бродил по улицам в полусне, не замечая времени. Когда он очнулся, перед ним расстилась огромная черная Нева, и от огней на мостах в глубине водной сияли золотые колонны торжественно и безмолвно.

И две черные фигуры таких же, должно быть, скитальцев, как Лунин, стояли на берегу недвижно.

«Не мертвый ли я? – думал Лунин. – Почему сердце так слепо? Не все ли в гробах мы?»

Потом опять, как ведомый кем-то, пошел Лунин прочь от черной Невы, и неожиданно открылась перед ним площадь и церковь. Вокруг церкви стояла толпа со свечами, и у при-

творца теснился клир и червонились хоругви.

«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесах...»

Лунин слушал песню, как древний зов таинственный.

– Но я – мертвый, мертвый, – шептал Лунин, склонив голову.

А клир пел: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...»<sup>[17]</sup>

# Комментарии

1.

Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906) – священник, с осени 1905 г. агент охранки. При поддержке ряда высших чинов Министерства внутренних дел организовал в 1904 г. легальную рабочую организацию «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга», которая распалась после 9 января 1905 г. Инициатор петиции рабочих Николаю II и шествия к Зимнему дворцу. С января по октябрь 1905 г. – в эмиграции. Пытался сблизиться с эсерами, но вскрылись его связи с охранкой. Разоблачен как провокатор. Повешен по приговору партийного суда в марте 1906 г.

2.

Каляев Иван Платонович (1877–1905) – революционер, 4 февраля 1905 г. убил московского генерал-губернатора вел. кн. Сергея Александровича. Повешен.

3.

«Противящийся власти, противится Божию установлению» – Послание к Римлянам Святого Апостола Павла. XIII. 2.

4.

Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис): «Ты не холоден, не горяч: если бы ты был холоден, или горяч!» и

далее: «как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих» (3: 15, 16).

**5.**

А.С. Пушкин. «Воспоминание» (1828).

**6.**

Киприда – одно из имен богини любви Афродиты – образованное от названия места ее культа – острова Кипр; Громовержец – верховный бог греческой мифологии Зевс, отец богов и людей; Марс – в римской мифологии бог войны.

**7.**

Кудряш – персонаж пьесы А.Н. Островского «Гроза».

**8.**

«Не убоишися...» – Псалтырь. Псалом 90. Исполняется на службу «Великое повечерие» (перевод: «Не убоишися ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень») и далее: «Ты мене утверди...» – Песнь 3. Входит в службу «Последование по исходе души от тела».

**9.**

Лаплас Пьер Симон (1749–1827) – французский астроном, математик, физик. Классический представитель



механистического детерминизма.

**10.**

Здесь, возможно, намек на кого-то именовавшегося так в кругу символистов.

**11.**

«Любви утечи...» – стихотворение М. А. Кузмина из сборника «Сети» (1908).

**12.**

Ребекка – героиня драмы Г. Ибсена «Росмерсгольм» (1886). В тексте повести цитируются диалоги из 1, 2 и 3 действия пьесы.

**13.**

«...кумир с простертою рукою» – цитата из «Медного всадника» А.С. Пушкина.

**14.**

Клико – название марки шампанского (по имени владельца виноградника).

**15.**

Тициановская Магдалина – известная картина венецианского живописца Тициана (1476/77 или

1489/90-1576) «Кающаяся Мария Магдалина», созданная в 1560-е гг.

## 16.

Мария Египетская – преподобная (VI в.) По преданию, была в молодости блудницей, но, присоединившись к паломникам, шедшим в Иерусалим, обратилась к вере и прожила 47 лет в покаянии в пустыне Заиорданской.

## 17.

«Воскресение Твое...» – «Стихира», глас. 6; «Христос воскрес из мертвых...» – «Тропарь», глас. 5. И то и другое читается на Пасху.